

В. Г. Резник

МАЛАЯ ПРОЗА



Санкт-Петербург, 2010

УДК ???
ББК ???

Резник В. Г.

Малая проза / В. Г. Резник – СПб.:
2010. – 144 с.

ISBN

Первая книга прозы профессионального переводчика художественной литературы представляет собой сборник рассказов, публиковавшихся в последние годы в журнале «Крещатик».

ISBN

УДК ???
ББК ???

Подписано в печать
Формат 70x100/32. Бумага офсетная
Гарнитура «Kudrashov». Усл. печ. л. 5.85.
Тираж экз. Заказ №

© Резник В. Г., 2010

©

Ария из 114-ой кантаты

*Душа в невидимом блуждала
Своими сказками полна.
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.*

Ник. Заболоцкий

От летней жары и квартирного ремонта под благовидным предлогом срочного перевода я сбежала в старый дом, стоящий по Николаевской железной дороге. Там мне все это припомнилось. Сохраненное памятью, я записала.

Жившая в маленькой деревне в доме возле железной дороги стародавняя приятельница свекрови, именуемая по-семейному тетей Нишенькой, для меня — тетушка Нина, незадолго перед смертью в середине семидесятых увидела примечательный сон: является к ней известный японский кинорежиссер Куросава испросить совета, как ему снимать «Дерсу Узала». Тетушка умалчивала о том, какой совет она подала Куросаве, но она и вправду приходилась двоюродной сестрой известному путешественнику, исследователю Сихотэ-Алиня,

Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, автору популярных книг, одна из которых по имени главного персонажа, охотника гольда, называлась «Дерсу Узала». По матери Арсеньевы, по отцу — Кашлачевы, тетушка Нина и проживающие на другой половине этого большого дома ее брат Сергей и сестра Мария были детьми старшего счетовода, а позже начальника участка Николаевской железной дороги и потомственного почетного гражданина г. Твери Иоилия Георгиевича Кашлачева, исподлобья и не очень одобрительно взирающего на меня с портрета, который стоит на старинном тетушкином бюро.

Комната увешена портретами. Со старых, еще с золотым обрезом, картонов глядят значительные, исполненные необыкновенного достоинства лики. Вот и у потомственного почетного гражданина г. Твери лицо словно с этюда Александра Иванова. Должно быть, таким был бунинский Кузьма Красов. Всему семейству передался от родителя напряженный пронзительный взгляд. Замечу, впрочем, ради справедливости, что исключение в этом прозрачноглазом содружестве составляет туманный — из-за очков — отрешенный взор бывшего выпускника Дерптского университета, десять лет возглавлявшего петербургскую ветеринарную клинику, профессора Вольдемара Конге, тетушкиного мужа. Похоже, тяготение к не-

мецкой солидности было у сестер в крови, потому что оставшаяся в городе средняя сестра некогда тоже вышла за немца много старше себя, обладателя знаменитой в музыкальных вагнеровских кругах фамилии Ниман, и тоже певца. Выбор обеих сестер очевидно неслучаен, несмотря на трудности, сопряженные с такого рода браками в предверии первой мировой войны. Ко времени блокады профессору Владимиру Владимировичу Конге катило к семидесяти, блокады он не пережил, а его огромный портрет, сговорившись о совместном переселении с вышедшим в отставку из московской артиллерийской академии полковником братом, вывезла из послевоенного Ленинграда вместе со старинными шкафом и бюро жена. В свой черед полковник привез в купленный дом письменный стол и кресло. Переехали они сюда в сорок восьмом, по призыву души и от греха подалее, когда тетушке Нине было за пятьдесят, а дяде под семьдесят, чтобы тихо закончить свои дни. И прожили еще приблизительно по тридцать лет. И умерли в своих постелях беспомощной в прямом смысле слова смертью, потому что помогать было некому. Да и легкая смерть — редкий подарок.

Полагаю, поначалу странно смотрелась здесь петербургская мебель, хотя дом не изба, а вполне солидное строение 1910 года, прежде служившее

на железной дороге конторой и позже переналаженное под жилье. В деревне, где дома у всех торчат, как шиши на бугре, — средневековая традиция строить на прогалинах, отвоевывая место у леса, — а в русской деревне еще и вечное опасение, что деревья тянут картошку, — этот дом особый: наибольший в деревне и с дороги незаметен от того, что утопает в можжевельниках, дубах и сиренях. В яблонях и шатровых ивах. Раз, лет пятнадцать назад, сидела я на скамье возле дома и услышала, как проходившая мимо за деревьями и не заметившая меня вредная баба Михалиха сказала кому-то: «А здесь господа живут... и всегда господа жили».

Мудреного отчества Иоильевич никто из деревенских выговорить не мог, и все обитатели господского дома в одночасье и навеки сделались Ильичами и Ильиничнами, включая дядину жену, фармаколога Анну Ильиничну, которая и в самом деле была Ильиничной.

Жили господа в большой бедности и тяжелых физических трудах, правда, что никто с голодухи не помер, все-таки у тетушки была академическая пенсия за мужа, а дядя, полковник сначала царской, а потом советской академии и специалист по металлам, пенсию имел полковничью. Глухой, как все артиллеристы, и уже полуслепой полковник в шестидесятые и семидесятые годы включал

на всю деревню старенький приемник, чтобы послушать Би-Би-Си. В это время обитавшая за стеной сестра, не только не страдая тугоухостью, но до последних дней обладая очень острым слухом, переживала сеансы духовной связи с Западом трагически. Естественно, глухой и полуслепой полковник был совершенно убежден в том, что о его маленькой слабости никто не подозревает, и никогда не комментировал услышанное. И все же одно политическое потрясение с неизбывной настойчивостью вновь и вновь подвигало старого военного на неизменную краткую тираду — этим потрясением была сдача в плен армии Власова. «Вся армия — возвышал фальцет полковник — вы слышали, чтобы вся армия, — такого в России не бывало... нет, не бывало!» Как ни странно, выкрикивая эти слова, полковник лучился ярким изумлением, и было похоже на то, что факт сдачи власовской армии в плен подтверждает какие-то собственные его, полковника, соображения, и это его радует.

Иногда он все же забывался и задумчиво ронял: «Интересные мысли у этого Солжемихина». Но больше дядя прикипел душой к поведям митрополита Антония Сурожского, которому однажды написал большое письмо. Дальше районного почтового отделения не ушедшее. Как, впрочем, можно было догадаться,

дядю интересовала этическая, а не религиозная проблематика. Вообще же в домашних беседах божественное представляло собой фигуру умолчания.

На фотографии, которая сейчас стоит на дядином письменном столе, он в фуражке и офицерской плащ-палатке, при этом разрез глаз, седой клинышек бородки и небольшие усы очень мне напоминают моего собственного деда, подполковника медицинской службы. Человека буйного характера, родом с Кавказа, ничем, кроме болезней и больных, как мне казалось, не интересовавшегося. Впрочем, если судить по фотографиям, все полковники и подполковники в той жизни были похожи друг на друга...

О Господи, зачем только взялась, это не поэт, это шею себе свернуть... И в доме сыро и надымлено: протопила печки, позабыв, что бывает, когда их долго не топишь.

Нет, ни персидская сирень, ни ивы с можжевельниками никого ни от чего не спасли, потому что на самом деле слащавый быт провинциальных приокских городков с непремными учителями и докторами, ступавшими по скрипучим половицам и слушавшими на пропахших осенними яблоками верандах Моцарта, никогда не существовал. Эту эстетику придумал от безвыходности один писатель... Ну что поделаешь, надо

было куда-то спрятаться. Сейчас, когда я записываю то, что припомнилось, в дядиной комнате уже снесены перегородки, делившие пространство помещения на несколько постельных убежищ, по норе на персону, и пространство действительно очень большой светлой комнаты распахивается всеми четырьмя окнами в сад, а на старой дядиной «Ригонде» у меня поставлена пластинка с трогательной музыкой...

Пора, впрочем, остановиться, потому что в дядины времена такого маринада не было, полковник хоть и ставил на «Ригонду» пластинки, которые заказывал в Москву одному бывшему сослуживцу, но слушал больше «Сусанина» и «Травиату», а музыкальные его суждения сводились к категорическому утверждению, что Глинка лучше Чайковского. Заподозрить при этом полковника в музыкальном снобизме было решительно невозможно.

В конце семидесятых приезжал сюда потомок другой знаменитой русской семьи — Кирилл Владимирович Таганцев — заглазно «Кирюша» — и они не раз с полковником говорили о мормышках. У Кирилла Владимировича лес и рыбная ловля, конечно, были способом сбежать от Советской власти. Содержимое огромного рюкзака этого любителя пеших переходов ошеломляло: в нем покоились разные орудия, могущие неожиданно понадобиться в затруднительных обстоятельствах,

всегда угрожающих каждому нормальному человеку, а именно: ножницы, клейкая лента, чай, соль, спички, рекомендации, как вести себя при укусах змей, компас, булавки, шпагат, обувные стельки, какие-то немыслимые крючочки и т. д. Ах, ему да с этой пунктуальностью пойти бы по стопам деда, чьи дневники Кирилл Владимирович долгие десятилетия прятал и хранил, сенатора Таганцева, знаменитого юриста, создателя первого русского уголовного кодекса, дневники, в которых все про про арест сына и мачехи, походы на Гороховую и оказавшиеся ни к чему хлопоты. Но быть может, Кирюша и математиком стал от того, что отлично понимал неуместность в этой жизни правоведения. В последний год у него вызрела своя большая тема: жаловался, мол, не может навести у себя в комнате порядок, потому что вещи связаны между собой, — одной место найдешь подходящее, а оно занято, надо другую вещь сдвигать, и так к вечеру и совсем изнеможешь... Конечно это было все то же болезненное обострение присущей Кириллу Владимировичу черты скрупулезной тщательности, он бывало возьмется топором сделать и уж трудится... жди этого топорика... Но еще здесь было нечто более глубокое: человек, живущий в понятиях рода, чести, правил поведения, в культуре, одним словом, он очень ощущал себя наследником. Да только, когда сделалось возможным с до-

стоинством произнести свое имя, времени оказалось совсем в обрез. Как был взбудоражен Кирилл Владимирович событиями девяностых, вступил в Мемориал, труды деда издал, и все равно, огорчался тем, что не под силу ему опровергнуть случайные оговоры и намеренные клеветы, нагроможденные вокруг таганцевского дела, и это его угнетало. Ему было уже хорошо за восемьдесят, когда он в невообразимой, во имя удержания памяти и поддержания уз семейственности перелицованной из женского пальто курточке, со слаломными лыжами отправлялся кататься в швейцарские Альпы, благо старший сын там где-то работал и обеспечивал поездки. Неимущий Кирюша всегда всем привозил маленькие подарки. Я как-то сказала ему, что упоминаю их семью, когда читаю студентам лекцию о Набокове. Ну, да — сказал Кирилл Владимирович — это Николай Степанович Таганцев пригласил Владимира Дмитриевича Набокова преподавать в Училище Правоведения.

Кирюша и хоронил в ту зиму восьмидесятого года полковника.

Жили, потому что жили, чтобы длить физическую жизнь, как все... как все мы... да... А вот не оставить ли этот конечный терцет в таком, скажем, виде:

*Но если медлить, что тогда молить
О проблеске или подобье знака...
Помилуй, Ариадна, дай мне нить!*

Оставить. Пока. Там видно будет... А Марию, тетю Маню, фельдшерицу в госпиталях первой мировой и акушерку, я уже в живых не застала. Замуж за положительного человека она в отличие от сестер не вышла и была с цыганщиной. Рассказывали про нее, что в старости, вероятно, после впечатлений войны и от ужаса перед цивилизацией, тетя Маня за калитку старалась не выходить, а если покидала палисадник, направлялась исключительно в сторону леса. Летом в хорошую погоду курила на крыльце трубку и пела басом: «корабль одинокий несется...» А с левого запястья у нее свисал, навечно привязанный аварийный мешочек на случай войны, грозы, пожара или какой-нибудь другой катастрофической ситуации. Говаривали, что в мешочке лежат трубка, табак, да игральные карты.

Десятиминутная аудиенция у государя императора, данная известному путешественнику Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, в семье сделалась излюбленным анекдотом. По придворному уставу Владимир Клавдиевич не имел права первым заговаривать с царем, а Николай растерялся и не

знал, о чем спросить путешественника. «Так мы и молчали и молчали, пока он наконец не сообразил, что сказать...» — смеялся Арсеньев. И то сказать не без губительного фрондерства были эти Кашлачевы-Арсеньевы... В украшенном розочками альбоме средней сестры с переписанными чернилами от руки и от блеклости порозовевшими стихами Надсона, между прочим, «Интернационал» вписан легким девичьим пером.

Разбираясь с письмами и фотографиями, я долго не выходила в сад, чем обеспокоила соседку Люсю. Она заглянула ко мне и горестно сказала: «А я в этом месяце всю пенсию-то на хлеб растранжирила».

Вечером в цветнике совсем врубелевский колорит. Проклятый Хорхе Гильен!

Мне очень нравилась покойная мать Люси — Настя. Как-то вечером Настя, которой надо было до ночи переделать в огороде уйму дел, увидела меня и, поняв, что это ей грозит разговором — в деревне этикет соблюдается строже, чем в городе — смешно спряталась за куст. Тогда я спряталась за другой куст, чтоб вернее было. Так мы друг друга перехитрили. Поутру Настя, не зная, что я ее видела, почувствовала себя неудобно и принесла мне огурцов. Задумалась я тогда об этом

«неудобно», но ничего не придумала. Настя была одним из самых деликатных людей, которых я встречала.

В бюро тетушки Нины Иоильевны осталось множество пачек советских времен открыток и конвертов с портретами военачальников, неиспользованных и покупавшихся неизменно в день получения пенсии для того, чтобы почтальону Дусе, — девушке серьезной, к чьей лирической истории, безответной любви к женатому человеку, тетушка относилась с сочувственным уважением, — перепала бы хоть какая копейка. Молчаливая, неулыбчивая и коренастая от многогождения, Дуся, летом в плюшевой черной жакетке, зимой — в ватнике, в любую погоду торила бесконечные километры между деревнями и однажды не вышла в путь, потому что в одночасье умерла от незамеченной стародавней болезни.

Рядом с этим невостребованным запасом до сих пор лежит древняя коробочка с визитными карточками их владелицы, Конге Нины Иоильевны. Тогда я в жизни не видывала визитных карточек. Не на них ли хозяйка глядела, прежде чем отправиться в хлев доить упрямую корову Фрину?

Мой дед, когда умирал у себя в больнице, уже никого не узнавая, в последний день, повернул

ко мне голову и произнес: «Я могу говорить откровенно, здесь все члены партии?» А ведь ни в чем таком замечен никогда не был...

Как-то воскресным днем — мне тогда было лет пятнадцать, время, когда я потрясенно переживала бетховенского Эгмонта через Ромена Роллана, — я заметила, что дед — неслыханное дело — лежит на кушетке возле моего проигрывателя и слушает симфонию Бетховена. Я несколько раз бдительно подкралась, проверила, не спит ли он, — не спал. Потом уж мне сказали, что в молодости, в Тифлисе — так дед неизменно называл город — он был завсегдаем открытых симфонических концертов. Но когда студенты медики подарили ему что-то уж совсем непонятное, двухтомник французской драматургии эпохи классицизма, он бесчувственно над убористой и золотистой каллиграфической надписью вписал большими некрасивыми чернильными буквами свое, не упомянутое в благодарственном обращении имя.

Ужинал (и заодно обедал) поздно возвращавшийся из больницы дед всегда одинаково: свиной отбивной, запитой стаканом молока. Все это неизбежно сопровождалось щепотью соды, подносимой ко рту на лезвии ножа. Дед сидел один и, взмахивая ножом, иногда исторгал в пустое пространство перед собой странную негодующую реплику, вроде: «А все-таки Миронова — дура

и врач совершенно безграмотный! Сидела бы где-нибудь в Горздраве!»

О бабке, жене деда. Бабка шуток не понимала. В блокаду она была начальником санитарной обсерватории Московского прифронтового района и ночевала в смольнинской келье, пользуясь обкомовским буфетом, в котором можно было покупать на восемь рублей в день чего угодно. Дед в блокаду поднимал из руин военный госпиталь, начальником которого был назначен, и когда он заболел дистрофией, спас его бабкин паек.

Один раз на улице бабку схватили двое, но узнали и не съели.

А вот это, кажется, вышло:

*Глухую стену туго оплели
Цепляющейся жимолости плети,
Благоуханный аромат соцветий
Пал на дорогу и достиг земли*

После войны она работала главным врачом в больнице на Чугунной и заявлялась в больницу по ночам устраивать шмон медсестрам. Росточка бабка была малого, боялись ее страшно. Все это до пятьдесят второго года. В пятьдесят втором она заперлась в комнате, служившей ей и деду одновременно кабинетом и спальней, чтобы не-

сколько часов лить непредставимые слезы над боевым орденом Красной звезды и разными грамотами. Рассказывали, вскоре после этого в гости к деду и бабке неожиданно пришел дальний знакомый, преподаватель, Борис Александрович Гасилов, просить прощения за страну. Потом бабка жила обыкновенной, уже не своей, жизнью, и когда ей перевалило за шестьдесят, смогла наконец накопить денег себе на кротовую, как она говорила, шубейку.

Все же более внятные воспоминания относятся к пятьдесят третьему году: воскресным мартовским утром дед включил репродуктор, и они с бабушкой услышали... «дыхание Чейн-Стокса...» «Конец», — сказал дед. Больше они оба не произнесли ни слова.

Глаша и Шопен. Неподалеку от дядиного письменного стола, за которым я сижу, лежит Глаша. Глаша — большая собака неясной породы и темного, как ее окрас, происхождения, была подобрана десять лет назад из-за неизъяснимо проникновенного взгляда карих глаз и общей доверчивости характера. Глаша неколебимо верует в социальную справедливость и доброту всех прямоходящих существ с необыкновенно развитыми передними лапами. Хозяину часто доводится бранить ее беспутной девкой за то, что на готова бескорыстно продаться кому угодно, особенно

если он молод. Несмотря на то, что в Глаше очевидно просматривается предок ризеншнауцер — порода, не отличающаяся благодушием, — у нее можно не рискуя отобрать чудную косточку, хотя, как всякая собака с бездомным прошлым, Глаша никогда не отказывается от еды и, наверное, от того болеет печенью. Но в добрые дни она царствует над деревней с балкона второго этажа, сотрясая окрестности густым низким собачьим голосом. Когда у меня играет музыка, больше фортепьянная, Глаша сначала тихо поскуливает, а потом засыпает. Она состарилась и много спит. И теперь в ее кротком карем взгляде печаль, как в самом печальном ноктюрне Шопена.

Приход и отбытие питерской электрички структурируют деревенский день. И жизнь — хочешь, не хочешь — со временем выстраивается по этим двум знакам, утверждающим, что другой мир есть.

Там облако готово пасть в листву.

Странно: приходит в голову, когда укладываешься на диван... Вскакиваешь — ложишься, вскакиваешь — ложишься, как ванька-встанька.

Пересмотрела вороха справок, писем, фотографий, здесь у Арсеньевых, как водится у стариков, ничего не выбрасывали. Вот этих людей, внуков

крепостных крестьян помещика Голикова, очевидно, очень способных, достигших в начале века определенного уровня состоятельности, просвещенности, духовной независимости, взяли и отправили назад в хлев в самый раз тогда, когда они пообвыклись с зеркалами, паркетами да умными книгами. Но дело, конечно, было не в зеркалах и паркетах, а в медленном возвращении в себе достоинства, в отсутствие которого душе суждено оставаться неизменно загадочной и широкой. Думали, что выходить в люди — хорошо, а потом оказалось, что умственные интересы — дурной тон, воспитанность — это вина, которую надо избивать, да и все то, чем они гордились, заслуживает осуждения. И они засомневались, началось возвращение...

Я помню свои первые приезды в этот дом в конце шестидесятых, я была потрясена не столько убожеством старческого быта, сколько ритуально бессмысленными застольными разговорами, смехотворно воспроизводившими светский этикет разговорами ни о чем. Скоро я, правда, поняла, что дело не в нормах светского обхождения, а в бессознательной попытке срастись с деревенским окружением, в культе речевой беспроблемности, всех и никого устраивающей, некогда питаемой страхом, а потом вошедшей в привычку: птички, ягоды, наличие белых в нынешнем году

по сравнению с предыдущими... и в обратном порядке — белые, ягоды, птички... и при этом вполне приличная лексика и синтаксически правильные периоды. А кому такие темы интересны не более чем на десять минут, тот — горожанин со всеми вытекающими ужасными моральными следствиями (не отсюда ли и хороший тон: любить Пришвина... ну, в самом деле, не Василия же Ажаева любить, хоть и валялся томик «Далеко от Москвы» у тетушки на печной приступке). Конечно все они были Арсеньевы в смысле неумеренного пристрастия к многочасовым пешим лесным прогулкам. Меня этот мир изумлял, он был мне непонятен. Я злилась на прогулках, спотыкалась о какие-то дикие корни, и, отмахиваясь от комаров, бурчала: «Просто какое-то избывание мыслей посредством многохождения, за что они так боготворят вопиюще бесчувственную и вечную?» Я чувствовала себя существом словесным, и меня угнетала искренне-показная любовь к молчаливой, исполненной самой собой природе и неприязнь к произнесенному вслух слову. Но причины нелюбви к слову лежали глубже, они не были простой отчужденностью от идеологии властей предрежащих. Старики очень традиционно верили, что поступок говорит о себе истину, а слово почти всегда лжет (разве это не так уже в чеховской драматургии?), что отдельные индивидуумы

из т. н. народа, слоя, оставленного уже их родителями, дрянь и воры, но вообще народ свят, они охотно прониклись марксистской подозрительностью, всегда ищущей за словесной речью скрытых выгод для ее носителя. На самом деле, я думаю, они чувствовали себя растерявшимися сиротами... И как всегда бывает, когда расправишься с тем, что некогда ценил, преисполняешься к изгнанному окончательной неприязнью.

Но самой читаемой и почитаемой книгой у полковника были даже не арсеньевские сочинения, но аксаковские записки о разных охотничьих и рыбацких делах. Записки Аксакова дядя изучал скрупулезно, как ученый муж, — все-таки столько лет на академической кафедре — подчеркивая важные вещи и выписывая особенно нужное про повадки налимов и карпов. Сомневаюсь в том, что он впадал в эстетическую нирвану от чудного, обворожительного авторского слога, потому что, ясно, полковника интересовали технические тонкости охоты и рыболовства. Но только то, что книга была и ее очень любили, задавало тон всем другим книжкам в доме.

Иногда я думала, что здесь столько гуляют лесными тропами, чтобы потом, нагулявшись, раскрасневшись и устав, разнежиться от еды, а потом со вкусом поспать, а на закате попить чайку

с вареньем, а там снова поспать. Конечно, крестьянина в лес не зазвать, когда ему там ничего для дела его жизни не надо. Все это были воспоминания о проживании на дачах и в имениях и арсеньевские руссоистски-толстовские идеалы.

Давно ли у нас очень громко провозглашали жизнь во имя жизни и только самой жизни?

Пора выглянуть наружу и сойти на бегущую с взгорка вниз тропинку, мимо можжевельников, кедра, липы, стелющейся рябины, шести яблонь и до сливы — всего этак метров пятьдесят до конца окультуренной части сада, окаймленной, в свою очередь, шатровыми ивами... Что и говорить, здесь, как всегда, в любую погоду эстетическое пиршество, тарковские пейзажи...

*А может, правда, свет когда слепит,
Печаль горчее? О, спешить не надо.
Пусть плод из отцветающего сада
Поспеет в нем. Тогда уж рот вкусит.*

Светоодержимость какая-то, горчее, горчее, что тут думать, все при ясном свете горчее.

В середине пятидесятых, непонятно как, сюда на станцию занесло каких-то польских туристов. Настя на дороге рабочей тогда была. Они ее и спра-

шивают, а что у вас тут хорошего? А она им рукой повела и говорит — а воздух-то, посмотрите какой... Очень была довольна своим ответом иностранцам.

Баба, живущая в доме неподалеку, утопила поутру свою бестолковую собачонку, которая надела ей неумолчным тьявканьем. К вечеру от слез у нее так распухла физиономия, что смотреть было страшно. И не хотелось.

В день девяностолетия полковника московский начальник артиллерийской академии генерал-лейтенант Тонких прислал Сергею Иоильевичу на гербовой бумаге красивые поздравления. Конечно их организовал преданный дяде бывший его сослуживец, москвич, и по фамилии Московский... Детдомовский, должно быть. Дядя был доволен. А еще его поздравила обнаглевшая крыса, разбудившая поутру прыжком на плечо, и он, встрепенувшись, смахнул ее со своей обветшавшей венгерской куртки со шнурами, доставшейся ему после смерти моего деда.

Писем в ящиках письменного стола сохранилось много, и я их разделила на две категории: скучные и катастрофические. Скучные все про рыбную ловлю и большей частью от сослуживца, кажется, тоже полковника, но лет на тридцать моложе, вероятно, человека очень осторожного —

письма-то ведь начала пятидесятых. И все-таки лучше, что скучных писем больше, потому что катастрофические таковы, что сразу приходится отправляться в кругосветное путешествие вдоль можжевельников, кедра, липы, стелющейся рябины, шести яблонь и до сливы.

В девяносто два года полковник забрался на протекшую крышу своего двухэтажного дома прибить drankу.

Прежде в тетушкиной комнате была развешена масляная живопись, картины ее собственной кисти. Картины были мемориального свойства, потому что изображали бывшую саблинскую дачу Иоиля Георгиевича и любимых собак, как никак она была женой профессора — ветеринара. С нелегкой техникой масляной живописи тетушка вполне управилась, а других задач, кроме мемориальных, она, очевидно, себе не ставила. Картины позже унесли не разбиравшиеся в живописи воры, фамильного серебра, брошенного на грязную плиту, они не заметили.

Нет, решительно не понимаю, как в одиночестве можно стать мудрее... разве что исполниться вселенского равнодушия? Кстати, на фотографии середины двадцатых тетушка выглядит вполне inferнальной дамочкой, и при ней — два откорм-

ленных пса. Вообще-то она была умным человеком, принявшим от безвыходности вполне определенную позицию — ну раз не с кем разговаривать, надо о том, о чем им по силам, а об остальном, своем, — молчать, вон, сколько народу так обходится. Постепенно, однако, замолчанное стиралось. И на беду тетушка почти всегда придерживалась категорических суждений, при этом единственным человеком, которого ей удавалось открыто глубоко осудить, был обретавшийся за деревянной перегородкой старший брат. А дядя решал проблему очень просто: когда он не хотел слышать сестринных возмущенных инвектив, он притворялся уж совсем глухим, безмятежно покручивая клинышек бородки и пощуривая выцветшие глазки.

Однажды, поглядев искоса на меня, тетушка спросила, не слыхала ли я про такого поэта Садовского, они иногда встречались... Я была по-советски невежественна и, точно, этого имени тогда не слыхивала... Еще она как-то раз наметнула, что за ней ухаживал физиолог профессор Лондон. Это имя мне было знакомо, потому что поругавшись с Павловым, у которого характер был не сахар, мой вздорный дед ушел работать к Лондону.

Вообще о фотографиях. Я не имею в виду тех старых картонов с золотым обрезом, на которых

все изумительно благородны и ни у кого сроду не водилось темных мыслей. Я имею в виду обыкновенные повседневные фотографии, «фотки» (пренебрежительное словечко, пущенное в оборот Набоковым). Снимали те, кто приезжал к старикам на лето. Это была какая-то одержимость, страстное желание зафиксировать ну просто все физические жесты: одни и те же лица (или не одни и те же, а одинаковые) бесконечно шествуют одними и теми же (или разными, но одинаковыми) тропинками с одними и теми же или разными (не важно) собаками... положения спин, лиц, фигур в пейзаже — воистину апофеоз незначительности. Все рядоположено, все без иерархии, какие-то монады, ушедшие в эти самые леса, как уходит все физическое... Такие фотографии — мне, по крайней мере, так кажется, — окончательно всех делают покойниками. Вообще в одной книжке правильно сказано: хочешь напрочь забыть любимого попугайчика, преврати его тельце после кончины в чучелко.

Дядя начал было писать воспоминания о своем знаменитом родственнике, но что писать не знал и бросил.

Одна женщина присутствует на многих фотографиях. Тихая и очень неплохая женщина, от-

платившая старикам добром за добро, хотя вольнодумные дядины сеансы связи с Западом ее очень раздражали, потому что пугали. Она была дочкой попечителя богоугодных заведений в большом южном городе, сделать в советские времена ученую карьеру, хотя бы и в естественных науках, ей было непросто. И вот эта ученая женщина, жившая в скверные времена совсем неблагополучной, а позже даже катастрофической, жизнью умудрялась обходиться без общих выводов, — вот чашка, вот ложка, а что свыше, то от лукавого... сильнее всего в ней был охранительный самосберегающий инстинкт, тяга к душевной безопасности. И втайне, молча, — объяснения у нее выходили совсем детские — она очень не любила сначала Райкина, а потом Сахарова. Ей было страшно за них и за себя. Профессор, она никогда не выходила за калитку дядиного дома, не покрыв головы косынкой, то ли из боязни оказаться не как мнимые все, то ли оттого, что сроднилась с вымышленным деревенским укладом. Как всякий человек с ограниченно практическим образом мыслей, в практической жизни была беспомощна и безалаберна (настенные ходики, впрочем, в качестве естествоиспытателя починала одним взглядом). Но что делать, если прежде всякого действия все равно, хоть и скрыто, составляется план действия. А сейчас она — лучезарная

старушка, трясущаяся возле палки. Она уже не может налить в чашку чая и положить в эту чашку сахару, потому что и здесь прежде надо составить план действия. И вот, окончательно утратив невоstreбованные способности выстраивать и разбираться, она с каким-то неисповедимым упрямством достает из ящичков письменного стола, разбрасывая по дивану и полу, вороха фотографических доказательств того, что нечто было. Она хочет утолить какую-то потребность, она ощущает какой-то мучительный долг, силится что-то наверстать, бесконечно рассыпая фотографии... Мне кажется, она никак не выговаривает наконец родившийся у нее вопрос, которым прежде ей так не хотелось задаваться: «Почему?»

Среди дядиных пластинок с привычной классикой я нашла одну, снова отправившую меня на прогулку вдоль можжевельников, рябины и яблонь: это была ария из 114 кантаты Баха. Пел Козловский, которого тетушка, по-моему, совершенно бесхитростно и несправедливо, как-то совсем по-школьному, обзывала, не трудно догадаться как. На пластинке немного юродиво дребезжащий — да, да, не Фишер-Дискау, и не надо! — неописуемый голос Ивана Семеновича выводит: «В долине слез, как тень блуждая...»

Барометр, подаренный инженер-полковнику Сергею Иоильевичу Кашлачеву сослуживцами в 1912 году, висит у меня в прихожей, неизменно указывая «по воспоминаниям недействительную погоду». Это набоковское выражение приходило мне в голову во время сочинения моих коротких заметок... и правда, действительную ли погоду указала я по воспоминаниям?

А сонеты... что ж, сонеты тоже как-то перевелись. Для смягчения мировой дисгармонии...

Вот они.

СОНЕТЫ ХОРХЕ ГИЛЬЕНА (1893-1985)

В ПОЛУСНЕ

*Уверенней? Да нет, какой в том прок?
Отяжелели челюсти и веки
Мирволя сну, когда не я, а некий
Застывший в нерешимости игрок*

*Во мне, внезапно делая виток
И убегая собственной опеки,
Впадает в пустоту без подоплеки,
В блаженство полноты, в ничто, как Бог.*

*И очертанья намогильных плит,
И призраки в пещерах подземелий
С оракулами, чья увяла пруть,*

*Мне безразличны. Только ночь сулит —
Вне зла и блага — бытие без цели,
Такой покой, чтоб быть и только быть.*

ПРОВИДЕНЬЕ СМЕРТИ

*Бывает, обреченность удручит.
Вдруг замаячат пригород, ограда,
Глухая стенка и за ней прохлада,
Там свет полей споткнулся о гранит.*

*А может, правда, свет, когда слепит,
Печаль горчее? О, спешить не надо.
Пусть плод из отцветающего сада
Поспеет в нем. Тогда уж рот вкусит.*

*Такого дня среди печальных дней
Не миновать. Простертая вдоль тела
Рука увянет. О пощаде стон*

*Не осквернит собой ничьих ушей.
Бери — скажу — я отдаюсь уделу,
Сужден и мне не случай, но закон.*

НА ПУТИ К СТИХАМ

*Меня извлекий ритм из вялых пут,
Стеснявших мне движение до встряски,
Обдал восторгом светозарной ласки
И на террасу вывел мой маршрут,*

*Где верховодит тот, чей атрибут
Прозрачный космос и по чьей указке
Досада сякнет, а ее тараски,
Немоты злее, от меня бегут*

*А тут еще, предел фантомных мук,
Ползут ко мне для полного комплота
Слов полчища, стремясь попасть в сонет.*

*Но контуры очерчивает звук.
И форма тащит из водоворота.
Все меркнут беды, и сияет свет.*

И ВОТ ОПЯТЬ...

*С каштанов тоже льет и никуда
От струй не деться. Ожерелье влаги
В траве блестит, тая архипелаги
Забвений, своенравных как вода.*

*И непосед, удравших из гнезда
Каких-то птиц, бесчинствуют ватаги
Средь мокрых листьев. Связные зигзаги
Балконов к ночи строги, как всегда.*

*Все бурое дыханье кое-как
Удерживает, и доюка длится.
Мир кротко ждет, глотая тошноту.*

*Вдруг ниоткуда, разверзая мрак,
Прекрасных слов взлетает вереница
И фразы новой дарит красоту.*

АРИАДНА

*Там облако готово пасть в листву
По умыслу ль пособника загадок?
В беспмятства торосах, без оглядок
Их растопляя, медленно плыву.*

*Бреду и голым сучьям и гнезду
С птенцом дивлюсь: расцвет то иль упадок?
И не понять, октябрь навел порядок
Или апрель так распустил узду?*

*Измучился я, силясь отобрать
Избыток первообразов у мрака
И словом форму вещи осязать.*

*Но если медлить, что тогда молить
О проблеске или подобье знака?
Помилуй, Ариадна, дай мне нить!*

ДНИ УДЛИНИЛИСЬ...

*Дни удлинлись, и благоволит
Прогулке предвечернее светило
Вослед реке, в которой отразило
Оно, с февральских нисходя орбит,*

*Градостроенья, и меня двоит,
И умножает, если вдруг удило
Забросят, или отвернут кормило,
Когда скитаясь у гранитных плит,*

*Я быть хочу коротким ветерком,
Свидетель упоения заката,
Неторопливым пылом облаков,*

*Вечнозеленый ельник целиком
Воспламенивших, видящий: куда-то
Поплыл еще один из вечеров.*

БЛАЖЕНСТВО

*Глухую стену туго оплели
Цепляющейся жимолости плети,
Благоуханный аромат соцветий
Пал на дорогу и достиг земли.*

*Мечтательно упоены, цвели
Они на этой потайной планете,
Карбакаясь. Я ахнул: в ярком свете
Сад, как бокал, сияет изнутри.*

*Тюльпан провозглашает, что он ал,
Невозмутим окольцевавший трели
Всех соловьев дубов немолчный гул,*

*Мир вдруг на диво благороден стал,
Заботы все куда-то улетели,
И я в блаженстве взял да и уснул.*

НОЧЬ С ОСОБЕННО ЯРКОЙ ЛУНОЙ

*Стояла ночь, ошеломля взгляд.
Огромное безмолвие твердодело,
Как алебастр, и белизной сумело
Перебелить сугробы горных гряд.*

*Мерцающий овеществленный хлад
Бодрил, преображаясь под прицелом
Светила в покрывала и пробелы
На почернелой плоскости оград.*

*Подробностями тень пренебрегая,
Предметы распахнула — Суть ночная
В блистающих холстах воплощена.*

*В земных глубинах где-то кладовая,
В которой круг составился — такая
Ночь, снег, ошеломленность и луна.*

Люди, собаки и внешняя природа

У Феллини в одном из фильмов представлено огромное колесо обозрения, на котором, накрепко привязанные к сиденьям, исполненные восторга, пассажиры, размахивая руками, медленно въезжают в облака. А так как между пассажирами расстояние неизменно, как между Ахиллесом и черепахой, течение времени можно заметить только по уплывающей из-под колеса тени, или по тому, что кто-то уже скрыт облаками.

Картошку этого года Профессор окучивал по второму разу. Он стоял в ботве, подтягивая вялую резинку тренировочных штанов до уровня груди, по пояс голый, и мечтательно говорил, что когда-нибудь напишет книгу под названием «Реабилитация субъекта»... «Это кому же выйдет реабилитация?» — хмуро говорит Профессорская Жена. Профессор делает вид, что не слышит, и, жмурясь на солнышко и поигрывая плечами, чтобы размять их, думает, а потом говорит, что название плохое, потому что слово «реабилитация» некрасивое и слово «субъект» тоже

нехорошо собой, а если название внешне непривлекательно, то какая же книга. К этому мгновению тренировочные штаны снова ползут вниз.

В большом деревенском доме четыре собаки: Феня, Маня, Глаша и Сука Аня. Это не значит, что Маня и Глаша не суки, просто таково полное имя последней по счету собаки, избравшей себе прибежищем, чтобы издохнуть, подъезд городского дома, в котором живут ее будущие хозяева. Приятельница хозяйки, известный искусствовед, снисходит до брюзгливого: «Где четыре, там и двадцать четыре...» А Феня действительно старый рыжий кобелек, которого в свои дурные минуты Профессорская Жена бранит Буридановым ослом: состарившийся Феня мнителен и, опасаясь подвоха, пребывает в глубокой нерешительности перед всеми дверьми. Зато впечатление складывается, что Феня сильно себе на уме. Это не так. Феня очень простодушен.

В отличие от жены, стряпающей безотчетно, Профессор стряпает в состоянии кристальной ясности сознания относительно производимых им действий. Он всегда не прочь отвлечься и что-нибудь приготовить, особенно после того как жена призналась ему, что необъяснимо ненавидит за-

правлять салаты. Сотрапезники обмениваются редкими репликами. За едой Профессор думает о еде. Жена Профессора воображает море.

«Косу — деля ударение на «о», — говорит Профессору соседка Люся, проходя с коромыслом по профессорскому участку, — возьми у Композитора». Люся поводит плечом коромысла в сторону ближайшего дома. Профессору все равно, у кого брать косу, а Профессорская Жена думает, откуда здесь «феня»¹. Косу приносит сам Композитор, призрачный алкоголик, не занимающий на земле уже никакого осязаемого места. За косу надобно поднести, и Профессорская Жена наливает в граненый стакан до половины водки, а потом с ужасом смотрит, как в прозрачную жидкость падают такие же прозрачные слезы разобившегося Композитора.

Самые густые тени всегда на границе с самым ярким светом. Свет в июне пронзительный и в утреннем саду разгул караваджизма. Куст шиповника осыпан белыми бабочками цветов. Но жена Профессора зачарована крошечным изумрудным

¹ «Композитор» — «по фене», воровскому жаргону, — тот, кто пишет «оперу» т.е. кляузничает оперуполномоченному.

провалом в сердцевине куста. «Плерома²» — догадывается Жена Профессора.

Сука Аня сполна хлебнула в жизни лиха и за появившихся у нее хозяев готова положить живот в любой точке пространства и времени. Она твердо знает: тяжелейший из грехов — обман доверия. Взгляд, которым Сука Аня глядит на хозяев, струит ангельскую духовную любовь, обволакивающую и растворяющую во влажных клубящихся испарениях не только фигуры хозяев, но и все вещи домашнего обихода. От других людей Сука Аня взгляд угрюмо отводит.

По сравнению со спиритуализованным Композитором Профессор — воплощение физического присутствия. В городской квартире Профессор мается, злобно переругиваясь с компьютером и подозревая в ответной ненависти принтер, сканер, мобильный телефон и стиральную машину. Даром что у Профессора и батюшка и матушка — оба профессора, крестьянская кровь деда и бабки бурлит в профессорских жилах, когда похерив соображения чистого разума, Профессор окучивает картошку, окапывает кусты, сажает деревья.

² «Плерома» (греч.) — полнота, исполненность, философский и богословский термин.

Пересаживает, вырубает, прореживает, унавоживает и огораживает. И косит! О, это упоение повторением! С каждым взмахом косы Профессор утверждает в блаженстве неподвижности и исчерпывающей себетождественности, обретая себя снова и снова в том же самом месте и в том же самом состоянии. «Глуха, слепа, *poli me tangere!*» ликует профессорская душа. Вечером после стольких соединений с физическими телами Профессор не артикулирует речь, похож на Маугли и не проходит в дверь, а проваливается в нее. За ужином чайная ложечка оказывает Профессору серьезное сопротивление. Жена Профессора воображает море.

Маня, Феня и Сука Аня свой ум не прячут, он у них на морде — у Глаши на морде ума нет. Это потому что Глаша думает. Тупое усилие мысли в глазах у большой черной Глаши совсем не ум. Поутру Глаша долго соображает, хочет ли она идти в лес на прогулку. И когда восторженная свора на садовой дорожке едва не сшибает с ног взявшего палку и кузовок Профессора, Глаша наконец принимает решение и растягивается в солнечном пятне на полу террасы. Минут через десять, когда лай вдаль затихает, Глаша вдруг вспоминает, что на втором лесном перекрестке предстоит раздача печенья, она вскакивает и, забыв

о преклонных годах, черным дельфином ныряя в траву и вылетая из нее, во весь дух несется за ушедшими.

Как-то раз Глаша неважно себя почувствовала и не захотела есть и гулять, а только лежала на полу, печальная и грузная. «Перекормил», — подумал Профессор и повез Глашу в ветеринарную клинику. В клинике ветеринар посмотрел на Глашу, потом посмотрел на Профессора, потом снова — на Глашу, а потом сказал: «Она сейчас родит. Вон и молоко уже капает». И добавил: «Одного надо оставить, а то помереть может». Поехали грустный Профессор с печальной Глашей домой. Дома повздохали, помолчали, — через два дня родилась Маня.

Жена Профессора озадачена: приценилась к окуням, которых выловил проходивший мимо дома плотник... «Бери, тетка, за такую цену продавали во времена Жилина и Костылина», — говорит плотник.

Кудлатая Маня — Профессорская фаворитка, вожак своры — вспыльчива и непредсказуема: у Суки Ани с ней сложные отношения. Из-под темной челки, скрывающей Манину морду, виден только черный кожаный кончик, но если челку

откинуть, неожиданно откроется утиный нос высокопородной помеси. Своей мордой и экстерьером — после купанья Маня похожа на опустившегося на передние конечности маленького ихтиозавра — Маня повергает в тупое изумление ветеринаров. «Схапендус!» — говорят одни. «Шнауцер», — говорят другие. Хотя по сравнению с Сукой Аней Маня ростом не вышла, она как-то умудряется глядеть поверх нее: «Парвеню», — написано на морде под челкой.

«Маня, покажи личико!» — говорит Профессор. В тот же миг Маня утыкается косматой мордой в угол или закрывает ее лапами. Профессор в сотый раз оглушительно хохочет: «Маня! И так ничего не видно».

Профессор выстригает у Мани свалывшиеся пряди шерсти французской колтунорезкой, расчесывает их, бормоча: «Ты самая, самая главная... кто ж еще!..» Он знает: под челкой на морде у Мани счастливая улыбка.

В деревенской лавке кончился стиральный порошок, за ним нужно ехать на соседнюю станцию. Дорога занимает несколько минут, но обратная электричка приходит не сразу. Чтобы ее не упустить, народ коротает время в грязном поле вблизи

железнодорожной насыпи. Спасение от солнца можно сыскать только под стеной единственного строения — заброшенной пекарни. Но там, на земле, уже расселись, постлав под себя старую газету, мужик в тельнике и две толстые бабы. В руках у одной невостребованный газетный лист: «Подразделение римского легиона», — громко говорит баба. «Когорта», — подумав, отзывается мужик в тельнике. «Опера композитора Верди» — громко говорит баба. «Если короткое, — Аида» — говорит мужик в тельнике. «А вот и Травиата», — говорит баба. «Сатирическая статья, особо резкая по тону» — говорит баба. Воцаряется молчание. «Электричка!» — орут с насыпи.

Приехал Коля, студент Профессорской Жены. Он из Толмачева. В институте Коля подошел к Профессорше и спросил, что она думает об интерпретации Рихтером анданте 21-ой сонаты Шуберта. Музыка к профилю института отношения не имеет, Жена Профессора не снесла восхищения: Коля сделался в доме своим человеком. Коле нравятся иностранные слова, и он часто без повода, весомо и с упоением растягивая звуки, произносит слово «паспарту». За обеденным столом разговор забредает куда придется, но, кроме музыки, Коля ничего не знает и он жестко говорит: «Ну а сейчас мы возвратимся к Брамсу» и властно стучит вилкой по тарелке.

«В голове у меня, — говорит Коля — финал Пятой Чайковского с Караяном. Иду по Фурманова, переживаю паузу перед кодой, Караян, сами понимаете, Светланов, правда, мне тоже нравится, и, что бы вы думали, поодаль на тротуаре что-то белеется, а тут как раз кода, широта запредельная, подхожу, ни за что не угадаете, маленький такой Чайковского бюст на тротуаре... Ну, взял, и ведь рассказать кому — не поверят!» «Всякое бывает!» — говорит Профессор, с блаженной улыбкой бросая в тарелку с борщом растертую дольку чеснока и хватая ложку. Жена Профессора хмурится, но потом, вообразив море, обретает душевное равновесие.

Жена Профессора гуляет с подругой, известным искусствоведом, по лесной дорожке. Профессионально склонив голову к плечу, Известный Искусствовед вглядывается в пейзаж и, мелодично выпевая слова, протягивает «Ты только приглядиись, как изысканно оттеняет древесную кору эта белесая с перламутровым оттенком плесень, как она в тон бархатистым мхам, и, согласиись, неизбежно припоминаются жемчужные строгие гармонии Моранди... — она поворачивает голову и, вдруг увидев в просвете деревьев по мойку, взвизгивает: — Ну, что за люди, все, суки, засрут!..»

«По периметру высоко-о-о-кий забор, — с вожделением восклицает Профессор, оглядывая свой обширный участок с фруктовыми деревьями, — а на вышку ба-а-льшой пу — у-лемет!» — и почти без перехода начинает петь в полный, очень громкий, голос арию короля Филиппа из «Дон-Карлоса»: «Do-o-rmiro so-o-l nel manto mio rega-al... Do-o-rmiro so-o-ol...».

За изгородью плотник громко внушает Люсе, что Иван Михалычу он сделал не гроб, а «произведение художеств».

Вечером Профессор стоит столбом посреди огорода, сосредоточенно вперив взор в разливы небесной палитры и созерцая феерический июньский закат. В действительности после дневных трудов он просто не в состоянии сойти с места. Профессор исполнен умиротворения и гордого спокойствия, сулящих в ближайшем будущем естественно и плавно преобразиться в глубокий отрадный сон...

Профессору снится, как он в черном шелковом цилиндре и крылатке стоит, прислонясь к скале, на утесе над беспокойным морем, и в душе у него платоническая любовь, а в уме непринужденные мысли.

Коля в упоении: «Подсвечники, пианино, шиповник! Поля, леса, Рахманинов!» «Бедность и добродетель!» — сердито добавляет Жена Профессора и задумывается. Она думает, от чего в других странах холмы, а в нашей — косогоры.

Полоть морковку — хуже нет: слабенькие едва различимые стебельки всенепременно выдираются вместе с мокрицей. Приехавшая из города помочь бабке Люсина внучка Светка от морковной скуки врубает на магнитофоне тяжелый рок. «Негодяи! — мечется по дому в тоске Коля — Я вам покажу!» Коля, в свою очередь, хватается магнитола, взбирается по лестнице в мансарду, распахивает балконную дверь и над ошеломленной деревней, над огородами, аккуратными навозными кучами, отощавшими с зимы редкими коровами и козами, чуть светящейся несильной зеленью взмывают полновесные рокошующие безмерно торжественные звуки в до-миноре — преувеличенно благородный пафос рахманиновского концерта.

На кривую поляну, неровно заросшую ромашками и какими-то невзрачными пунктирными цветиками, в окружении темного, захламленного валежником, ельника, трусится бледный неустойчивый слюдяной свет. Красоты для глаз никакой, все это для чего-то другого...

Настя умирала от сердечной недостаточности. Ей не хватало воздуха: она то сидела в подушках, то ложилась, повторяя: «По мне не плачьте». Ни ей, ни Люсе не приходило в голову, что от смерти можно убежать или ее отсрочить. Люсе нужно было по хозяйству, и она выходила от матери в хлев и полить огород. Две недели бабы приходили каждый день и спокойно сидели возле Настиной постели, рассказывая друг другу про хлопоты со скотиной и что привезли в лавку. Вся Настина жизнь с начала и до конца была им видна, как дом на пригорке. Ничего не скрыто.

В городе перед Женой Профессора всякий рабочий день встает задача неодолимой сложности: открыв ключом входную дверь, незамедлительно после этого воспарить, пролететь небольшой коридор и плавно приземлиться в ванной комнате, в тот же миг закрыв за собой дверь. Неточность в движениях и промедление грозят утратой коралловых бус и спущенными петлями на кофточке. Натянув старые джинсы и ковбойку, Жена Профессора — О, р-гав — наконец!!! — распахивает дверь ванной комнаты.

Профессор сжигает на поляне мусор. Работа легкая и состоит в том, чтобы, умело управляя пламенем, не дать ему разрастись, зато можно следить

за тем, как порывы ветра увлекают дым и языки огня то в одну, то в другую сторону, рвут их в клочки, разносят, распыляют, растушевывают. Преображают в кудрявые облака, ели, горы, барханы, сугробы и волны... Профессор блаженствует, замерев в немом восторге, он всецело слит с реальностью, данной ему в ощущениях. Жена Профессора погружена в книгу, которую Профессор читал до того как отправиться разжигать костер. «Речевые практики — морщась, вычитывает Жена Профессора — образуют опаснейшие объекты. Дискурсы способны вовлечь во что угодно». «Ну-ну, так уж...» — угрюмо бормочет Жена Профессора.

Известный Искусствовед задумчиво говорит: «Видела у себя на Моховой такую ничью собаку... такую собаку... что, ну, не знаю, ты пойми, смотреть было неприятно».

Глаша открыто таит в себе неистраченные запасы материнских чувств. Глаша безгранично доброжелательна и любит мир и обитающих в нем существ бескрайней, как степь, любовью. Вот только Сука Аня... Но разве хозяева когда-нибудь ошибаются?

Люся дорожит дружбой с летними соседями и зимой по ним скучает. Всякий раз, возвратив-

шись из лесу, она приносит ягодок угоститься, незаметно оставляя гостинец на террасе, а по праздникам, особенно на Серафима Саровского, он же — День железнодорожника, приходит в новой косынке и жакетке чаевничать. Профессор занят мужскими делами — он пилит, разговоры с Люсей его не интересуют. Жена Профессора, завидев Люсю, осторожно ступающую по тропке, чтобы не пустить хозяев по миру с собственным приношением — блюдечком со своими сахарком и печеньем, начинает громко браниться. Но Люся неумолима, за столом ее нужно настойчиво угваривать прикоснуться к чему-нибудь из выставленного хозяйкой. Как у всех деревенских, у Люси слабые нервы и она со дня на день ждет то манны небесной, то горьких невзгод. Люся расспрашивает про отлично известные ей цены в городских магазинах и долго и охотно рассказывает кто где помер.

Из Люсиных сказов: как пойдешь по той дороге, по одну сторону деревня Лешино, а по другую, прямехонько против нее, — Божеводово. В Лешине живут цыгане, а в Божеводове уже никто не живет.

Спозаранок лучезарный Профессор в саду опрокидывает на себя ведро воды, и... вчера никогда не было, один сплошной *praesens*.

Время от времени Профессору случается произносить загадочные фразы или выказывать очевидное предпочтение каким-то словам, например, слову «громоздкий». Жена Профессора твердо верит в то, что у слов не может не быть смысла и что высказывание с чем-нибудь да соотносится. Чтобы понять с чем, нужно собраться с умом и, собравшись, ждать — истина сама придет и озарит, потому что истина рождается вовсе не из той обычной достоверности, которая предполагает соответствие какому-то реальному порядку вещей, ничуть, истина это вдруг вспыхнувшая догадка о том, что залегает совсем не в пластах внешних соответствий... Жена Профессора терпеливо ждет ее прихода. У Профессора бесстрастное лицо, только озарений ему и не хватало...

А Иван Михалыч был кроткий недоумок и пьяница. Как-то посреди зимы после стычки с женой, которую дружно терпеть не может вся деревня, Иван Михалыч бесследно исчезает. Самые здравые деревенские умы и те неколебимо уверены в том, что Евдокия его зарезала и сожгла в печи. «Выхожу утром от коровушки — говорит Люся — а у ней дымище чернущий из трубы так и валит, так и валит!» По весне Иван Михалыч отыскивается. Он висит в ближнем леске на елке, и опознают его по пиджаку, который когда-то ему подарил Профессор.

У Суки Ани окончательно сдали нервы: мимолетное душевное напряжение погружает Суку Аню, в точности, как ее хозяйина, в летаргический сон, но до того как в ужасе и слезах уснуть, она предпринимает отчаянные действия по защите обретенного положения: Маню везут в ветеринарную клинику накладывать швы.

Хозяевам, разнимавшим Суку Аню и Маню, в пылу драки тоже достается. Бинтуя ногу и охая, Профессор говорит: «Чего ты хочешь, тяжелое детство...» И правда, Суке Ане не позавидуешь — ее мучают кошмары: то ей снится асфальтированная безжизненная улица, длинная-длинная, ее надо до конца пробежать — тогда спасешься. А то всплывает в безликом белом пространстве черное пятно горячей, сулящей такой сладкий покой, незанятой крышки люка... Подбежишь... и ничего нет, куда девалось? Сука Аня скулит во сне. «От собственной истории не отвяжешься», — вздыхает Профессор.

Профессор обожает болота. Век бы ему гулять по болоту!

О, болото! Злобно-страстные остролистые сабельники, шептухи, хвоци и айры струят радужную отраву испарений — о, эти запертые в воздушной колбе тяжкие фимиамы! — вода в мшанных

окошках вздыхает, мельтешит пиявками и зырится провальнóй чернотóй, совсем смолянóй, если рядом дрожит солнечное пятно луча, которому удалось пронзить зеленую крышу. Профессор, гуляя по болоту, счастлив, как нерожденный младенец в околоплодных водах. «Жизнь — это сырость, это насыщенность — урчит Профессор — зеленое здесь зелено, черное — черно, но всегда может, кстати, стать еще чернее...» Только что провалившаяся по колено в чавкающую жижу Профессорша раздраженно напоминает что-то из Лакана про либидинозные структуры детства, на которых застревают умственно отсталые.

Жена Профессора, укоряя себя в гневливости, зарекается: «Все, все, все, теперь буду сидеть в углу, молчать и клеить коробочки»

Жене Профессора снится озеро, невообразимо прекрасно швейцарское, сквозь соразмерно круглящиеся кроны деревьев просматривается глубокая небесная синева, как у Леонардо да Винчи или Александра Иванова, и неподвижные ровные и гладкие тени отраженных стволов и кружевной листвы под прямым углом вертикально уходят на дно, в то время как за деревьями амфитеатром возвышаются равновесные бирюзовые холмы... никаких проклятых оврагов и совершенно ника-

ких сучьев, более того, каким-то непонятным образом озеро начинает расширяться, берега исчезают из пределов видимости, откуда-то возникают бурные волны, начинается прилив... у Жены Профессора захватывает дух: ей открывается что это не озеро, а море!

Даром что Сука Аня моложе всех собак, укладываясь на минутку вздремнуть, она громко кричит: «Тяжелое у меня было детство» — думает Сука Аня.

Домишки в деревне лежат на серых платках огородов. По весне еще жди, когда лысые склоны поменяют цвет. Одни унылые горизонталь, все вертикальное, отбрасывающее тень, безжалостно вырубается. Никто так мало не доволен погодой, как деревенские: на дворе солнце — подай им дождь, на дворе дождь — где солнце?.. Всечасная тревога и забота: как выживем?

«Играют волны, ветер свищет...» — громко поет Профессор.

По выцветшей шерсти на Фениной морде и далекому взгляду сразу догадываешься — он стар. «Все было бы приемлемо — думает Феня — если бы только Сука Аня все время так не толкалась

и не ерзала». За ужином Феня сидит у стола и в дремоте покачивается. «Ну что же ты спать-то не идешь, ведь пора!» — говорит Профессор. Феня встает и пошатываясь выходит из кухни по направлению к своему креслу. Минут через двадцать ему становится скучно, Фенина морда высовывается из-за угла с вопросом, можно мне к вам? И все повторяется.

С августа букет неясных тонких запахов, окутывавших всякий клочок земли и всякий кустик, скудеет. Сизая дымка теплых испарений, смягчавшая очертания, скрадывавшая расстояния, туманившая очевидности, делается прозрачной, и как бы уже и нет у вещей их нестойкого целомудренного ореола: большой бревенчатый дом, онемев, торчит на угоре.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕТРОВА

1. *Pattern*¹

«Осень» — подумал Петров, на этом мысль у него закончилась. «Продукты подорожали» — в замешательстве подсказал себе Петров, и снова продолжения не последовало: никогда ни о чем таком он не думал. Вдоль штакетника прошла старуха с прозрачным пакетиком в руке, завернутые в шершавую промаслившуюся бумагу в нем лежали две селедки. Петров глубоко вздохнул и стал смотреть, как по небу ползет светлая черта.

* * *

Когда листья сорвало и унесло и все предстало как есть, в Петрова вошла жизнь старухи с селедками. И прибавилась к Петрову. С ним такое бывало неоднократно. Поначалу он от непрошенных вторжений страдал и досадовал на внутреннюю душевную дезорганизацию, а потом привыкал к тому, каким становился. Впервые это случилось с Петровым в давние времена, когда они ехали в пригородном поезде среди бедной мест-

¹ *pattern* (англ.) — образец, матрица

ности: проем двери в грохочущий тамбур осветил утренний белесый размытый, какой-то застиранный, свет и боком в вагон вступила нищенка с палкой и котомкой. Ее печеное, не существующее, личико окутывал темный хлопчатобумажный платок, темное пальтишко на вате бугрилось. Ничего необычного в такой фигуре и виде не было: в те бедные времена мало в ком была внешняя добротность. И Петров очень долго не знал, что он эту нищенку запомнил.

А потом Петров жил и с ним случалось разное, но однажды когда он шел по сизому, кустившемуся пучками, ковылю вдоль морского берега и вокруг было много пустого воздуха, от колющих и режущих травинок, песка и воздуха в Петрове явилось ощущение самовластия. И необыкновенной полноценности. Просто все есть и ничего не надо. Но затем количество блаженства сильно превысило норму и съело самого себя, а в Петрова, по контрасту, вошло что-то чужое и печальное: три старухи с заплечными кузовами проходили по некошеному лугу. Исхудавшими темными ручонками они вколачивали в землю суковатые палки. Старухи уходили в правый верхний угол временного и пространственного интервала, двигаясь против ветра, и он вздувал сзади пузырями ситцевые юбки и делал согнувшихся старух по-

хожими на двугорбых верблюдов. Петров не успел ни удивиться, ни задуматься об увиденном, как ситцевые горошки метнулись в правом верхнем углу поля зрения, и их не стало, а на этом месте задрожала перламутровая растушевка.

Ну, само собой, Петров знал, жизнь это много разных картинок памяти, которые, являясь без спроса и аргументов, толкаются и мешают друг другу. И каждая по-своему убедительна. Вот, как сейчас, совпал очертаниями внешний рисунок моря с лугом, — композиционный пустяк! — Петров всего лишь голову немного назад откинул, и от этого линия горизонта приподнялась, и предстало — возможно! кто знает! — откровение уму и сердцу! Тем не менее, Петров все равно заподозрил, что это рефракция. Потому что, спрашивается, какие — такие, вообще, старухи? И отчего без явных причин ему сделалось как-то не по себе: не оттого ли, что всякий вид с высоким горизонтом, вбирающий много земли, невесел? Эти и другие мысли приходили в голову Петрову, и так бы и теряться ему в догадках, если бы не вспомнилось неожиданно: троица на полустанке обнимала миски с отварной картошкой возле внезапно оцепеневшего брянского поезда. Старухи — так показалось Петрову — выглядели на одно лицо. В точности как промелькнувшие в окне вагона деревья

выглядели одним деревом, вобравшим в себя свойства всех промелькнувших деревьев. Ни дерева, ни лица он не запомнил. Лакуну в памяти заполнял струящийся над картошкой и темными худенькими руками блаженный запашистый пар, затмевавший старухам грудь и шею и таявший около спрятанных под косынки ушей. Из-за этого головы старух казались посаженными на облако. Петрову тогда почудилось, что старухи позволили душе немного полетать подле себя, потому что в их тощих телах той было невместно. Немного посмотрев на старух, Петров пошел от скуки смотреть на бездыханный паровоз и, проходя вдоль вагонов, по привычке постарался представить себе что-нибудь про бедную старушечью жизнь, о бедности которой старухи не знали, но ничего достоверного во тьме не увидел. По крайней мере, вышло что-то совсем короткое: ну там, как они несколько разъехавшихся половиц тряпкой вечно протирают, укладываются спать засветло, или чай торжественно прихлебывают, потому что представить себе, как старухи едят, у него не получалось.

Картошку купили по малой цене, которую старухи запрашивали, но они не ушли и тоже стояли напротив паровоза с твердым намерением дожидаться исчезновения чудовища.

Своеволие памяти беспримерно: именно тогда, когда паровоз собрался с духом и вдруг испустил первое драконье «уф», в отшатнувшемся от него Петрове случился всплеск энергии, картинка памяти сорвало с умственного крючка и вторглось тягостное видение детских времен. Изредка бабка вспоминала о своих неотъемлемых домашних обязанностях, переданных домработнице, — обычно это случалось осенью — и выбиралась воскресным утром на рынок запастись брусникой с антоновкой на варенье. Другого угощения в доме, кроме сохраняемого в тумбочке под ключом засахарившегося и уже переваренного варенья, не водилось. Идя на рынок, бабка брала его с собой — «подышать воздухом». Зная, что их ждет, она набивала карманы мелочью, неизменно протягивая несколько монеток Петрову, — это дашь ты.

Бабка шла впереди. Чуравшийся телесной близости Петров всегда держался сзади. Страшно становилось с того мига за полсотни шагов, с которого в воздух начинало пробиваться жалобное раскачивающееся звучание. Оно крепло по мере приближения к воротам, у которых его подхватывали злобные низкие басы рыночного гула. Возле входа неопределенные волнообразные звуки достигали пика, обретая полномасштабные очертания воя: множество нищих и калек неистово трудились, равнодушно выплакивая подаяние. Приуготовлявшийся по дороге отдать монетку

тому, кому она всего нужнее, Петров всегда оказывался не в состоянии выбрать, кому из них хуже. Ледяное исступление спектакля завораживало. Не в силах совладать с темпом, в котором его влекла сквозь толпу за руку бабка, он другой рукой сразу отдавал монетки, — прежде он предполагал их добросовестно распределить, — первой вставшей на пути впечатляющей фигуре. Сунув монетки в чужую ладонь, Петров задира голову, — он пытался рассмотреть того, кому их отдал, — удивленно впиваясь глазами в предстоящую ему фигуру и бесчувственно забываясь на ней взглядом. Он ничего не переживал, не ощущал и не мог вообразить себя никем из тех, кого разглядывал. Бабка его окликала и волокла за собой. Петров был удивлен. В те давние времена, когда уклончивый подбородок Петрова едва догнал рыночный прилавок, он отзывался на внешние впечатления этим одним вполне у него развившимся душевным движением. Но от этого неуклюжие монолитные удивления громоздились в Петрове штабелями. Они опускались постепенно с поверхности души куда-то на глубину и там незаметно ждали своего часа, чтобы потом, спустя много лет, всплыть и расцвести под влиянием толчка мозговой коры. Старая фотка — Петров держал ее для особых случаев — с зыбким блеклым пятном детского лица, от которого исходил свет тихой доверчивой любви к явлениям внешнего

мира, фиксировала слабую полуулыбку глаз и беззащитно приоткрывавшего одинокий зуб щербатого рта, выставляя тогдашнего Петрова напоказ без изъятия. Фотка прекрасно объясняла Петрову самого себя, он смотрел на нее, когда ему нужно было утвердиться в каком-нибудь жестоком решении. И сразу переставал сомневаться. И хотя в Петрове той поры, кроме этой любви, все было неопределенно, возможно, как раз тогда, пустила в нем корни, чтобы глухо и упрямо произрасти, расталкивая позитивные чувства, странная неприязнь к «чистой публике» и, вообще, к чистюлям.

Перламутровая растушевка угасла. Старухи скрылись за горизонтом. Зато с вечно заложенным носом и припухшими красными веками из ниоткуда возник — он потом утонул — сын дворничихи Шура. Как-то раз задумчивый второклассник Петров в гулком колодце двора, превращавшем самые незначительные звуки в рокочущие органические борения, набрел на пятилетнего Шуру и ненароком сшиб того с ног. Схлопотав «заразу» от дворничихи, Петров обиделся высокомерной господской обидой. Утром вместо того, чтобы сесть в поданную эмку, бабка отправилась объясняться с дворничихой. Разобравшись, она нехорошо поглядела на внука и укатила. Дворничиха в упор никогда больше Петрова не замечала. А потом, когда пятнадцатилетний Шура утонул,

дворничиха с бабкой плакали вместе в дворничихой. Пальтишки на вате на них были как две капли, только у бабки с тощим поблескивающим котиковым воротником, купленным на орденские в распределителе.

Простенки дворового колодца задрожали и исказились — короткое воспоминание о Шура достигло оптимальной ясности и, исчерпав себя, помутнело, потому что на самом деле Шура был не при чем, а при чем — этого только не хватало! — оказался инвалид войны, сидяка Иван Евстигнеев, на чью большую пенсию, — как слышал сам Петров от соседей — кормились таинственные оглоеды. В любую погоду спозаранок и до сумерек, жена выставляла Ивана Евстигнеева на крыльцо смотреть через дорогу на два мертвых кривых домика и копошащихся возле изгороди кур. Еще до того как от скуки и тупой скорби, упав головой на грудь, инвалид засыпал, домишки под его невидящим взглядом утрачивали четкость очертаний, срубы, словно отраженные в луже, начинали подергиваться краями и черно рябить в середине, на крыше внезапно откидывался конек, с гиканьем выскакивала бессмысленная кукушка — Иван Евстигнеев просыпался от жениного крика и заходился плачем... Плач Ивана Евстигнеева стал громким, разросся в коровий рев и заполнил экран. Старуха, на ходу повязывая косынку,

бежала по деревенской дороге прочь от дома. Пришлый мужичонка за требуху взялся зарезать корову, с которой она уже не управлялась. За деревней старуха сидела на пне. Слезы застилали внешний мир, и она лучше видела внутренние картины, но от этого они лились еще сильнее. И казалось, дождь никогда не утихнет. Когда спустя часы старуха прибрела назад, то поняла, что в беспомощности накинула на дверь замок, ...и выпустила из хлева бледного, держащегося за сердце мужичонку.

Ковыли тянулись вдоль узкого моря, горизонт был пуст: старухи ушли, не обернувшись, — они были безлики. Едва успел Петров разобраться с причиной их бесповоротного ухода, как в ушах у него раздалось клацанье капканного затвора, взрывающийся в миг приземления оползень. — Вошла нищенка с палкой и котомкой. Ее печеное, не существующее, личико окутывал темный хлопчатобумажный платок, темное пальтишко на вате бугрилось. Старуха сделала два шага по вагону и присела на край скамьи с ними рядом. «Ну, уж, это совсем не обязательно» — буркнула мать и отодвинулась.

В пролом в штакетнике заглянула собака. «Тебя только мне не хватало» — сказал ей Петров. По небу ползла белая черта.

2. Озерко

« В заплоте позабытая вода... »

Из Петрова

За обедом Петров загляделся в окно на воробья. Воробей сидел на ветке и глядел куда-то, и Петров тоже сидел и глядел. И сидели бы себе оба, Петров и воробей, и смотрели бы, куда им смотреть, — большое дело! — да только вдруг Петров услышал шорох времени: как оно бежит, сухо шипя и одиноко потрескивая таким звуком, какой обычно исходит от высоковольтной линии электропередач. « Спасибо » — потерянно сказал Петров самому себе, торопливо возвращая хлебницу на дальний край стола, на котором она стояла прежде, — в ушах у него раздавалось очищенное от посторонних примесей, прозрачное со страшной высоты ровное шелестенье. Не нарастая и не убывая, шелест застилал слух, — и если бы только это! — но глухоту восполнило расширившееся поле зрения: отрешенный от звуков Петров бесцельно зорко видел сотрапезников в уменьшенном виде, словно смотрел на них в наведенные на предельную резкость окуляры перевернутого

бинокля, и при этом ему был как никогда внятен смысл того, что происходило по обе стороны стола: в нужный миг, если потребуется, — это очень важно! — Петров мог прекрасно все сообразить и во всем отчитаться: например, он равнодушно различил, что жареная курица лежит на кузнецовском блюде для рыбы, продолговатом и немного щербатом, с блеклой каемочкой, мясистые подушечки Профессорских пальцев неуклюже обнимают грациозную ножку хрустальной рюмки, а с лиловыми пятнами натруженных кистей рук на белой льняной скатерти перекликается синезеленое бутылочное стекло и к сметане в уголке пухлой Колиной губы пристал обрывок фиолетового салатного листика. Вещи мерцали десятками нежных опаловых отливов, трепетали сотнями трепетаний... Ну и что! Петров в этом празднестве не участвовал! Обычные вещи были не в силах отвлечь его от негромкого безучастного потрескивания. Какое, вообще, сравнение! Тем более, в Петрове начала тихо всплывать возможность глубокой мысли... Спустя неопределенное, никем не учтенное и для измерений совершенно не существенное время сосредоточенный на трансцендентном Петров вздохнул, незаметно ястребино огляделся, натужился... и протиснулся назад в пространство трапезы.

«...те, кто под этим знаком, они такие ...я когда знакомлюсь, всегда сразу спрашиваю...» — сказала Профессорская Подруга».

« А суп-то какой невкусный». — сказала Старенькая Бабуля.

«Мне бы горбушечку потолще, с краю она самая вкуснятинка!» — сказал Коля со всхлипом — Эта прелюдия у него, просто с ума сойти!».

«В жизни не ела столько подножной дребедени». — сказала Старенькая Бабуля.

«Очень полезно. — сказала Подруга и загадочно добавила — Аргентину-то мы прохлопали».

«Самое красивое — змейки, они гибкие и блестят!» — сказал Коля

« Какие змейки... Я о собаках, лают и лают, что такое? — спросила Старенькая Бабуля, с любопытством вглядываясь в Петрова, и повторила: «Я знать хочу, почему они лают!»

«Ну, собаки лают» — сказал Профессор.

«А здесь хлеб, у нас такого не продают». — сказала Подруга.

« В магазине продавщица». — удовлетворенно сказал Профессор

«Смотрите-ка, солнце какое, можно подумать, хорошая погода» — сказала Старенькая Бабуля.

«Объединяет мир стремление к насыщению, жизнь есть повсеместный пищевой процесс, — сказал Профессор.

«Отвратительный чай — сказала Старенькая Бабуля — Вчера был чай, как чай, а этот просто отвратительный».

«Съесть — это усилиться и овладеть». — сказал Профессор.

«Ну, не знаю, не знаю...» — сказала Подруга.

Коля тщательно утер салфеткой с губ сметану, перевел затуманенный взгляд на висящий за спиной Профессора портрет поэта Александра Блока и кратко спросил: «Профессор, это вы?»

Сахарницу, из которой Петров только что вынул и положил в стакан сахару, Старенькая Бабуля на лету перехватила и потянула к себе, а Петров не то что бы не хотел ее отдавать, а просто не успел разжать пальцев, отчего, как в замедленной съемке, сооружение из двух протянутых рук и сахарницы сложилось над столом в мостик, и как раз в этот самый миг, на пол дороге свершающегося жеста, у Петрова произошло непредусмотренное соединение с Высшей Инстанцией и он оказался среди того самого, захламленного среди валежником нелюдимого леса у грузно цепенеющей под серым небом купели с темно-серой массой воды. Неказистое озерко было небольшим и глубоким, с топкими берегами. С торфяного дна при слабом шевелении воды всплывали бурые взвеси и растворялись на безразличной поверхности.

Восстанавливая зыбкое равновесие, набухший влагой воздух изредка беззвучно смаргивал на лес и озеро бесцветную слезу. Петров стоял в жиже возле больших осок и смотрел на лес и воду. Он то смотрел на них, а они на него — нет, они смотрели только в себя, они не зависели от Петрова, они вообще ни от чего не зависели, и такую беспредельную независимость человеку Петрову было трудно понять. И было еще что-то, в чем Петров не разобрался, но знал, оно главное, только сообразить не мог, каким словом это называется, и закрыл глаза, чтобы его озарило. Но явились блеклая пелена и какие-то размытые пятна. Потратив время и ничего не дождавшись, Петров решил: сел на съеденную у корневища бобрами, лежащую макушкой в воде, осину, стащил сапоги, сбросил одежду. Погрузил ногу в воду, стараясь нащупать дно, — ступню и голень всосал темный пушистый торф. Петров медленно упал, грудью вперед, в воду... тут все и случилось.

Мышиного цвета вода была умеренно холодной. Когда Петров в нее погрузился, возможно, из-за понижения температуры окружающей среды и уменьшения телесного веса — вес приняла и равномерно по себе распределила вода — в духовном центре у Петрова тоже что-то сместилось, и он перестал осязать внешний мир чувственными с ним

соприкосновениями, — способом, который ему навязали, когда все еще было сумеречным, только начавшим подрагивать экраном, — и соединился с окружающей обстановкой умопостигаемо, всем собой сразу. С этого мига кровотоков в Петрове замедлился и сник, внутренние органы перестали подавать о себе вести. Дальше — больше: все, выпавшее в мире в осадок в виде отдельных конечных вещей, сделалось Петрову вдруг необоримо тягостно, и он эти вещи забыл, а с ними предшествующую жизнь. Когда это произошло, Петров держался в воде рукой за макушку осины. Сам он нисколько собой не поменялся, а мысли в нем усилились, потому что стерлась не фактическая память, всего лишь называющая вещи, а избитая тональность, в которой были оркестрованы события его жизни: партитура рассыпалась на неприметные партии. Что-то отряхнулось в духовном Петрове и стало распределяться в строгом иерархическом порядке, невозмутимо занимая места по чину и званию. Как следствие повсеместно во всем начала проступать внутренняя необразность. Это была очень заметная перемена, и хотя не такая простая, как передвинуть в комнате стулья или диван, но все равно как после уборки в доме, только намного сильнее. Петров даже удивился, как это он раньше не понимал необычайной важности порядка. Отныне он понимал

все, отныне весь Петров был одно огромное понимание, не относившееся ни к чему в частности, а так...вообще. И еще Петрову открылось, что если ему вздумается, он может легко брать и поступать, как никогда раньше и совсем по-разному. Петров слабо вздохнул: экстатический вздох неслышно — физиологические процессы в нем протекали теперь неосязаемо — поплыл над лежащим без пульса серым озерком, а потом над недоверчивым лесом. Машинально повернув голову за собственным вздохом, умопостигающим зрением Петров — вполне предсказуемо — различил возле осоки неброский цветок. На разной высоте к стебельку прикреплялись пять белесых непритязательных соцветий, на которые никто бы и не подумал смотреть, но Петров был сейчас не как все, поэтому он сразу понял — перед ним мыслимое совершенство. Конечно, тяжеловесные попытки слов описать соцветия с бледными лепестками и ломкий стебелек были для образа губительны и только расплывающаяся по мокрому ватману или пропитанной специальным составом ткани китайская тушь с вкраплениями прозрачной акварели могли передать эту изысканную незаметность. Тихо удивившись, — громкие переживания уже были изъяты из его распорядка — Петров потупил взгляд. Но так как зрение у Петрова было умопостигающее, ему, собственно говоря,

не было никакой нужды никуда смотреть, потому что цветок уже цвел в нем самом, а сам он растворился в цветке. В Петрове установился глубокий сладкий покой, какой приходит лишь на смену нестерпимой муке. Хотя вода в сером озерке была холодноватой, из неопределенного центра, в котором в Петрове цвела *Orquidea dendrobium*, и из кончиков пальцев рук и ног, навстречу друг другу, стало поступать ровное тепло, которое, судя по всему, могло быть очень сильным, но при этом нисколько не обременяло. Петров уже не так отчетливо чувствовал свою отдельность, и когда гуморальное давление в нем еще более упало, уравнившись с внешним давлением воды, прежде уязвимый Петров, как серое озерко, перестал зависеть от чего бы то ни было, совпав с дыханием мирового разума. Невольно пользуясь наречием времени, можно было бы сказать, что отныне никакие пространственно-временные и прочие характеристики к Петрову были неприложимы — Петров был чист, потому что его не было, от него ничего не осталось, он был вырвавшейся из пространства и времени беспечельной неопределенностью. Расплывшимся в воздухе над серым озерком сфумато: ф-ф-х!

Петров светло улыбнулся и, потянувшись вверх, тоже попытался воспарить, но, потеряв физическое равновесие, схватился за макушку осины.

Послышалось безучастное потрескивание и на Петрова накинulo сеть время, которое куролесило по — черному, то ужасно растягивалось, то со страшной скоростью сокращалось.

«Управляющее Начало, я больше не...! — только и успел сказать Петров — Бабуля удивленно разжала пальцы, сахарница упала на стол, фарфоровая ручка откололась

« А у нас на работе один разбивает бокалы из цветного стекла, а разноцветные стеклышки снова склеивает, говорит, так ближе к тому, чему нет имени» — сказала Подруга.

3. Анфилада

Посреди ночи Петров сел на постели и огляделся. Ему предстала анфилада комнат и в открытой створке последней двери красноватый неровный — будто плавающий — рембрандтовский свет. В комнате за круглым, покрытым красной бархатной скатертью с кистями, столом под круглым абажуром сидели люди. Они негромко, соблюдая умеренность в жестах, разговаривали, с благожелательной готовностью еле заметно, улыбаясь друг другу глазами. При этом вид у них был, точно они все знают, а говорить про это не нужно. В мерцающем вокруг этих людей нагретом воздухе, кроме тепла, чувствовалось какое-то особое качество независимости от атмосферы. Короче, Петров сразу понял, что это рай.

Немного подождав, Петров включил в изголовье лампу: дальняя дверь была плотно закрыта, вела она в кладовку.

Случившееся произвело на Петрова большое впечатление, у него появились сомнения в существовании материальных вещей, и поэтому еще некоторое время он сидел в прежней позе, не спуская ног на пол.

Тогда же ночью Петров решил изменить жизнь, пренебрегая своими предшествующими намерениями. Потому что вчера он хотел пойти и купить стол. Дело в том, что в последнее время Петрову казалось, будто предметы домашнего обихода, словно сговорившись служить промежуточным средством для чего-то неведомого, обнаруживают безразличие к реальным собственным качествам. Со столом, вообще, была целая история: стоит, например, он рядом, а Петрову кажется, он где-то далеко. Петров к столу давай присматриваться, щурясь, а там уже не стол, а можно сказать, одна игра плоскостей. От этого становилось досадно. К тому же, так было не только со столом. С людьми тоже: поглядит Петров на человека, а тот побледнеет и как-то чудно выцветет и сотрется. Естественно, взгляд у Петрова сделался полный недоверия и уклончивый, и не всем это нравилось. Петров читал в медицинской литературе про такие состояния, но для отдельного человека совпадения с кем-то редко имеют значение. Поэтому, когда Петров собрался купить новый стол, это было не просто так. Но теперь, конечно, все переменялось.

На другой день поутру Петров встал с душой, как спокойное море, совсем не противоречащей телу, в котором тоже был большой уют. Тепло из

неведомого источника, имеющее в основе какой-то неопределенный по консистенции состав, растеклось в Петрове, заполнив в нем все пустые полости, проемы, впадины, ложбинки, лакуны и особенно подключичную ямку. Тепло не было связано с температурой окружающей среды, несмотря на то, что обычно внимательный к капризам погоды Петров надел на себя только рубашку, а про пиджак забыл. И понятно почему: никакой отдельной от себя окружающей среды Петров не чувствовал, все вокруг представлялось ему продолжением его собственного наполненного теплом тела, а пиджак, конечно, этому только препятствовал. К тому же, в Петрове произошла еще одна странная перемена: теперь свет памяти горел в нем в другую сторону и вместо того, чтобы поступать по привычке, он принялся разглядывать умом то, чего раньше вообще перед собой не имел. Например, Петрову внезапно открылось, что его жизнь тончайший обертон в спектре мировых гармонических соответствий и продолжать жить просто, как живет, без учета такой особенности, никак нельзя. С этой мыслью, которая не вела ни к каким определенным результатам, а только обостряла внимание к окружающему миру, ощущая все стихии как свои, Петров вышел на ступеньки крылечка.

Со ступенек Петров сразу увидел свалку. Прежде, когда Петров ее замечал, он сердито отворачивался, но сейчас он только прищурился в том смысле, что де и свалка ему ни о чем, и стал безмятежно ее оглядывать. Действительно, в виде продавленных сидений, покорных матрацев, бесконечно преданных хозяевам кастрюль с прохуdivшимся дном и мечтательных дырявых абажуров было много приветливой непосредственности. Петров оглядел свалку, и она ему понравилась. Ему стало очевидным, что, утрачивая личную целостность, вещи прочнее приобщаются единому космическому замыслу, и он, этот замысел, сквозит из монолитной и непринужденной композиции свалки и делает ему, Петрову, разные важные намеки на него самого. Петров еще некоторое время постоял, чтобы утвердиться в отношении к свалке и потому что, как говорится, было о чем подумать. Потом, чтобы забыть внешнее окружение и проверить, не убавилось ли в нем тепла, которое сейчас составляло его внутреннюю сущность, Петров закрыл глаза, но спустя мгновение, снова их открыл и направился за молоком к магазину: дороги до магазина от свалки было всего ничего, только обойти два дома.

Пока Петров шел к магазину, над ним в дрожащих пробелах воздуха среди черных весенних ветвей бесцельно и восторженно плыла его душа.

Но это не значит, что мыслями Петров тоже витал в облаках. Потому что, хотя к магазину Петров шел так осторожно, как будто он стакан с водой и может расплескаться, он зорко следил за обстановкой, задерживаясь сочувственным взглядом на мелких частностях, которых в свете прежней памяти ни за что бы не приметил, а теперь понимал, что они могут иметь серьезные следствия. Именно по этой причине возле крайнего дома Петров обратил внимание на дядьку, который цеплял лопатой на оттаявшей земле прошлогоднюю палую листву, зачем-то относил ее несколько шагов в сторону и там оставлял. Никакой практической пользы из этих действий вывести было нельзя, поэтому Петров предположил, что это такая лечебная физкультура. Тем не менее, стойкость дядьки ему внушила симпатию, он даже подумал, не сходить ли домой за удобной корзинкой для листьев. Но потом решил не ходить, сообразив, что может ненароком помешать в достижении той таинственной, одушевляющей жизнь дядьки, цели, — судя по всему, имевшей только побочное отношение к собиранию листьев в корзинку, — которую посторонним людям вовсе не обязательно знать. Неспешно размышляя о значении тонких подробностей в общей картине бытия, Петров продолжил путь к магазину.

Около магазина скучала собака. Собака была ничего особенного, каких много. Несмотря на это она понравилась Петрову и расположила его к себе смирным нравом. Петров сразу в ее нраве разобрался, потому что теперь, когда он начал видеть неприметные качества крупным планом и не отдельно, а как бы включенными совместно в фон общей жизни, он глубже и быстрее понимал смысл того, на что смотрел. Иными словами, догадаться что к чему, нынче ему совсем не стоило труда. Подумав, Петров сказал собаке: « А мясца не хочешь? А то куплю...» Но собака привыкла обходиться без еды и не обратила на его слова внимания, уложила голову на лапы и закрыла глаза. Тогда упрямый Петров, чтобы никто не услышал, тихо сказал, что спать на открытом воздухе небезопасно. Но собака тоже была упрямой и не пошевелилась. Петров постоял немного возле нее — посторожил на всякий случай окружающую обстановку. И так как ничего угрожающего ни с одной из сторон было не видно, он оставил собаку в мире неотвязных собачьих сновидений и вошел в магазин.

В тесном магазине было пусто и пахло стиральным порошком. У щербатого прилавка, на котором лежал огромный амбарный замок, против продавщицы стояла старуха и рассказывала

продавщице историю, про которую она думала, что это ее жизнь. История была как история. Старуха выговаривала слова, рассказывая, будто не о себе, прерываясь, когда у нее кончалось дыхание, и тогда в помещении устанавливалась неловкая тишина. Продавщица гладила кошку. На прилавке на воощаной бумаге лежал шмат масла, от которого продавщица отрезала нужные граммы. На нем сидели две большие недавно проснувшиеся мухи. После пауз старуха возобновляла речь, начиная ее с жалобного сочинительного союза, который сильно растягивала. Какие-то слова она вдруг произносила громче других, и эти нечаянные слова делали в воздухе магазина оседавший мутными волнами переполох. Корявая неурядица означающих звуков рисовала смысл старушечьей повести очевиднее происходивших в ней событий. Петров всматривался в темные проемы полок. Он не слушал старухи. Чего было ее слушать, если он, Петров, понимал суть вещей — даже удивительно! — прежде, чем вещи перед ним появлялись, и все знал заранее. Как животное, которое чувствует опасность раньше, чем она перед ним возникает. Да будь он, Петров, в этом мире перекликающихся соответствий стрекозиным крылышком, ему ли не знать, что он одновременно есть все на свете, а значит, и эта старая старуха!

Петров зябко, по-старушечьи, передернул плечами, — пиджак он забыл дома — переступил с ноги на ногу и вслушался, когда старуха умолкла, в отчаянное гуденье мухи, сучившей лапками, чтобы взлететь с масляной поверхности, а затем дремотно присмотрелся к трухлявой половице, которая, качнувшись под его взглядом, сначала расплылась, как акварельная краска по мокрой бумаге, а потом, собравшись в каплю и отвердев, оказалась серой щелистой тесиной кособокого, словно после землетрясения, домишка... В таком из-за сгнивших нижних венцов зимой люто топят печь и ловят жар двойными рамами и тройными дверьми — сообразил Петров. А с пола все равно поддувает и без толстых носков, двух пар — меньше нельзя, застудишься. Зато от тепла ум мутится: у дома высокая старая береза стояла, и ей вдруг помстилось: а как на дом упадет! Да так все представляла и представляла себе это страшное падение, что один раз неожиданно для самой себя встрепенулась — словно в грудь ударило — и протянула какому-то прохожему топор из-под лавки. Прошумев ветвями и очертив вершиной в воздухе огромный полукруг, береза повалилась и открыла пустое небо, и теперь, большущая, лежит, потому что пилить ее некому. Прохожий бросил топор и ушел. А она посмотрела на сваленную березу и сразу поняла, что это ей знак, и стала

потихоньку, рубашечку там и юбку суконную, чистое в угол комода складывать.

Горница теперь светлая, за окном чистое поле. В нем снег или дождь. И остается только ждать: когда долго нет снега — снега, когда нет дождя и солнца — солнца или дождя, и за ними, наконец, ее, чтобы больше этих явлений надоевшей природы никогда не ждать.

Веер сложился. Невоздержанная муха снова припала к маслу. Петров терпеливо ждал, когда старуха умолкнет. Рассказав жизнь, старуха принялась советоваться с продавщицей, лучше ей купить молока или кефира. А потом не стала ничего покупать, так как на самом деле приходила не для этого. Переступая порог, старуха повернулась к Петрову, но он ее не увидел, потому что смотрел в окно.

Когда Петров вышел из магазина, собаки не было: может быть, она ждала старуху и с ней ушла. Вдвоем им, конечно, было веселее. На обратном пути Петров с неудовольствием заметил на скамье мужика. Мужик сидел, отягченный невысказанными мыслями, и Петров постарался поскорее пройти мимо, чтобы в них не вникать. В физическом пространстве душа Петрова сильно приблизилась к телу и уже не так восхищенно трепетала, как раньше, от этого в его походке сделалось больше устойчивости.

Возле дома Петров заранее отвернулся от помойки.

В кухне, выгружая из мешка пакет с молоком, он столкнулся взглядом с поблескивающей неверной плоскостью. «А не купить ли новый стол, — задумался Петров — потому что этот...» и Петров неприязненно покосился на стол.

ДАГЕРРОТИПЫ

1. *Марфуша*

Для компенсации неведомых травм туманной юности и назидания грядущим поколениям моя бабушка Марья Гавриловна завела традиционный семейный альбом с твердыми фотографиями с броским золотым росчерком в правом нижнем углу. Фотографии вставлялись в отверстия толстых гляцевитых листов, созерцанию которых я предавался, сидя в навощенном штанами дубовом кресле, когда мне надоедало разглядывать Марфушу. Правда, семейным альбом был не в общепринятом, а в том исключительном смысле, который вкладывала в это слово бабушка, поскольку содержал он фотографии родственников по духу, а не плоти; иными словами, в альбоме, кроме самого семейства, было представлено все дружеское окружение бабушки и деда. Сейчас, спустя долгие годы, во времена когда окружающий мир мне сделался неприятен, я, как некогда, нахожу забаву и утешение в том, чтобы провести ладонью по облупившемуся кожаному переплету, отстегнуть латунную застежку, раскрыть пожелтевшие плотные листы и... замереть в ожидании, когда ринется мне навстречу ушедшее со своими, такими непохожими на нынешние, историями.

Начитавшаяся в костромской юности Песталлоцци, бабка была свято убеждена, что в периоды всеобщей нравственной смуты воспитать детей приличными людьми можно, только предъявив таковым неоспоримые примеры для подражания, и она вносила в заповедный Gradus ad Parnassum изображения тех, кто, по ее мнению, усердно отправлял человеческие и профессиональные обязанности. На мелкие недостатки людей, составлявших круг домочадцев и друзей, она, будучи человеком великодушным, закрывала глаза.

Болтая ногами в воздухе, я упоенно разглядывал благородных людей в белых крахмальных стоячих воротничках с большим узлом галстуков в просветах двубортных сюртуков, в чьем облике не было и тени двусмысленности: одни были запечатлены в профиль, и этот поворот головы неизменно символизировал волевой порыв и решимость во что бы то ни стало осуществиться, другие представляли в трехчетвертном повороте, всегда свидетельствующем необыкновенную чистоту помыслов. Мне казалось, что фотокамера наделена чудесным даром приводить тех, кого она портретирует, к общему знаменателю благородной простоты и спокойного величия. Впрочем, в портрете хозяйки дома бесконечно идеализирующий человекство ретушер по каким-то одному ему внятными причинам укротил стремление к со-

вершенству и не умерил весомости сжатых губ, а равно, не смягчил общего хмурого выражения. И все же лучше других в бабкином нраве разбирались ничуть не боявшиеся этой хмурости домохадцы, прекрасно знавшие, что если мой хитрый дед, изложив какую-нибудь очередную жалостливую историю болезни, завершит рассказ осторожным соображением о том, что теперь, когда он вводит в обиход свою систему, надо бы понаблюдать «*casus morbi*»¹ в домашней обстановке, он получит согласие. Именно так появилась в доме приживалка Марфуша, особа, обладавшая в глазах бабки Марьи Гавриловны чертами высокой моральной стойкости, в связи с чем ее фотография тоже помещалась в альбоме.

Камера запечатлела нестарую женщину, потуплено улыбающуюся сокрытому. В прошлом Марфуши смутно маячила какая-то обыкновенная житейская задача, вполне известная только ее непосредственному врачу, а уже от него, вкратце, всем остальным. Из истории душевной болезни следовало, что школьная премудрость Марфушу не привлекала, — во время уроков она задумчиво смотрела в окно — но книжки почитывала и один раз даже зачем-то выучила наизусть отрывок из Одиссеи. Больше ничего, однако, за ней особенного

¹ «*casus morbi*» (лат.) — история болезни

не водилось, если не считать, что из-за той же неизбывной задумчивости она могла, например, уронить на ногу утюг и не заметить этого: концентрация духовной энергии была в Марфуше так велика и настолько превосходила всякую внешнюю физическую энергию, что следов ожога не оставалось. Поэтому, когда она сбежала из своего почтенного семейства, в котором жила сама по себе, и сочеталась браком с каким-то бойким маляром, а через полгода застала его выходящим в неурочный час из дальних комнат глупой квартирохозяйки, — месячная квартирная оплата к этому времени уже была внесена — отец Марфуши только пожал плечами. Позже врачам, старавшимся выяснить, была ли Марфуша уже больна к тому времени, когда оставляла отчий дом, или же болезнь явилась результатом неприятного переживания, постигшего ее в брачной жизни, ничего выяснить не удалось. Потому что на все расспросы она отвечала только тем, что отводила глаза и застенчиво улыбалась. Но еще до всяких врачей прошла неделя, в течение которой они с мужем в шуточных беседах несколько раз намекали друг другу на забавность иных, вполне комедийных, положений. При этом вначале щеки юноши окрашивались нежным румянцем, и он, даже слегка улыбаясь и несколько красуясь, откидывал голову немного назад и вверх,

в том самом привычном трехчетвертном повороте, свидетельствующем необыкновенную чистоту помыслов. А на исходе седьмого дня впадшая в обычную задумчивость — в задумчивом состоянии никто не думает, это состояние приуготовления к неведомому — Марфуша вдруг из нее выпала и так легко вскрикнула: «А...ах!». Спустя недолгое время ее свезли в лечебницу к деду. Ум Марфуши отказался складывать жесты и выводить значения, не желая предпринимать никакого мыслительного движения. Из того факта, что в прихожей на подстилке спала собака, а в комнате на диванной подушке лежала кошка, Марфуша не в состоянии была вывести никакого итога, свидетельствующего наличие в доме домашних животных. Вещи представляли ей разрозненно и торчком, как на детском бесперспективном рисунке, на котором предметы совершенно не в силах сообразно увязаться и живут привольно и беззаконно. Развивавшаяся в последние пять лет благодаря усилиям деда система семейного призрения душевно страждущих предполагала размещение тихих немолодых женщин по семьям, но Марфуша была только тихой, а старой она не была, и это затрудняло ее вхождение в чужое семейство. Так получилось, что дед пал жертвой собственных медицинских нововведений.

Впрочем, Марфуша отличалась смиренностью и без раздумий признавала все действительно разумным. Говорить она была не мастерица и пользовалась ограниченным набором слов так, словно все они сложены в мешке, и из него можно извлечь любое и нацепить безразлично на что, поскольку все слова взаимозаменяемы и, в конечном счете, значат одно и то же, или, как логично было заключить, ничего не значат вообще. Она всегда была «за» уже по одной той причине, что мнение «против» нуждалось в большем обосновании. Все ее реплики носили констатирующий характер: «Вот именно — говорила Марфуша — и я то же самое, смотрю и вижу, а оно так и есть». «То-то и оно» — протягивала она и умолкала, ожидая подходящего поворота в разговоре, чтобы еще раз и в той же последовательности повторить все сначала. Выслушивая истории повседневных житейских неурядиц и болезней, о которых повествовала словоохотливая горничная, она не прерывала рассказов, реплики подавала редко, и только самые общие, не удерживая никакого повествования в памяти и никогда не интересуясь продолжением. Сильно отличаясь при этом от бабки Марии Гавриловны, которой если случалось выслушать какую-нибудь драматическую историю, то, не дождавшись конца рассказа, она сразу в сердцах давала непременно отрицательный совет.

Иногда в одиночестве Марфуша тихо смеялась, но не дай Бог спросить у нее, чему она смеется, потому что из-за неумения ответить она терялась и начинала плакать от того, что не знала, чему смеялась, а ей самой, право, все равно, плакать или смеяться, только бы все со всем согласилось, и ее бы, Марфушу, никто не беспокоил.

Иногда по вечерам дом пустел, и я усаживался в дубовое кресло в гостиной и рассматривал фотографии в бабкином альбоме, а Марфуша, любившая стоять у оконной шторы на другом краю гостиной, ждала наступления темноты, глядя в окно, проникаясь неведомым и исполняясь мистическим чувством связи с бытием. Сидеть на дубовых плашках было жестко, и я подтягивал ноги, чтобы плахи не врезались ребрами в икры, и с другого конца гостиной — а иногда, казалось, с другого конца мира — взирал со страхом на прильнувшую к окну и неизвестно чего ждавшую около него Марфушу. Засидевшись, я начинал различать под ее мешковатой одеждой бледные кожные покровы, облекавшие бочковатые ребра, вглядывался в смутно мерцающую жизнь кишок и незаметно для себя приспускал поднятые выше ноги, и от этого под коленками оставались красные полосы — следы граней деревянного кресла. Когда совсем смеркалось и в комнате не слышалось даже наших разобщенных дыханий,

возвращавшийся из лечебницы или концерта дед непременно что-нибудь ронял в прихожей и мыши сновидений разбегались.

Как-то раз Марфуша встречала возвращавшуюся из Костромы Марью Гавриловну на вокзале, и, увидав посвежевшую Марфушу, бабка сказала: «А вы недурно выглядите» — «Погода виновата» — стыдливо заметила Марфуша. Поезд сильно опоздал, и, передав саквояж Марфуше, Марья Гавриловна раздраженно выбрала железнодорожные власти. — «Ну, уж нет, — обиженно парировала Марфуша — это только если вам беспокойство, а так что... вовсе даже и не такое бывает» — И она замолчала, замкнувшись в своих потусторонних мыслях, страстно желая терпеть любые муки, лишь бы ничего не знать о скорбном и слезном несовершенстве этого мира. Зато в растения и механизмы Марфуша всматривалась очень внимательно, одним только взглядом, казалось, починяя разнообразные сломанные устройства, ход которых, в отличие от человеческого, был предсказуем и не внушал ей никакой тревоги. И в мыслях и наяву она скользила по нахоженному квартирному коридору, который всякий раз приводил ее к сердечной привязанности моего деда — расставленным по всем комнатам горшкам и кадкам с привоями и подвоями,

с которыми она безропотно и безучастно долгими часами возилась. Она рыхлила и разравнивала в кадках землю, тщательно поливая ее, и подсыпая удобрения так, чтобы они ложились ровным слоем. И по мере вхождения в этот укачивающий и задумчиво-бессмысленный ритуал ее словно магической силой втягивало в маленькую квартирную оранжерею, и тогда она развоплощалась, ее человеческий абрис стирался, и она сливалась очертаниями и бурой одеждой с космическим миром вегетаций. Никого уже не удивляло, отчего на вопрос о чудных геранях она отвечала рассказом о непонятно в каких краях, лежащем болоте с тяжким духом и чавкающими мшаными окошками. Меж тем все, что ни произрастало в горшках и кадках, росло буйно и цвело в самое заказанное какому-либо цветению время, имея первопричиной витальной вакханалии невразумительную женщину, к тому же, витавшую в Бог весть каких облаках или болотах. И всем казалось, что роскошные олеандры, магнолии и филодендроны измышлены и рождены ею непосредственно из себя в порядке компенсации за отстраненность от жизни и потупленный взор.

Когда семейство отбыло в другие края, потому что шквальным ветром снесло сложившийся порядок вещей, Марфуша уезжать отказалась. Никакие

исторические и социальные преобразования не в силах были переместить межи в вечном марфушином мире, признанном ею и на этот раз действительным и разумным, по той простой причине, что она не могла сделать никаких сопоставлений и, стало быть, вывести итога. Ее оставили приглядывать за пустовавшей дачей какого-то нестерпевшего перемен медицинского светила. Изза неумения водворять вещи на места никто так мало не подходил на роль хранителя имущества, как Марфуша. Да и как она могла соотносить незнакомые вещи с какими-то неведомыми местами! Привыкнув за долгие годы, проведенные в одной и той же квартире, к определенному быту, напуганная чуждостью и удобством обстановки, она бессознательно старалась больше находиться вне домашних стен. Волоча дырявую калошу, она перекатывала землю в цветнике, возделанном прежним садовником небрежно и без любви, а цапки с приставшими, нанизавшимися на зубцы сыроватыми кусочками дерна и слипшимися комьями земли, на которых иногда зазевывался червяк, складывала в гостиную на зеленое сукно ломберного столика, чтобы не украли.

Соседи видели, как она задумчиво грелась на солнце в саду возле куста чахоточного белого шиповника, вновь зацветшего под марфушиным

взглядом с последней нездоровой безудержностью, размышляя о том, что на калошу вполз муравей... но чего искал, не нашел и обмер. В калоше неровная дыра от угля — из печи выпал. Муравей оцепенел. В дыру идет тепло... спина припеклась, а руки никак... отчего это все какое-то не такое... и куст... странно, чтобы шиповник и на болоте... да разве что угадаешь... думаешь так, а выходит напротив... и, наверное, так и нужно... бедные, бедные... все бедные... Последнее соображение пробилось на поверхность и заняло все свободное пространство, не оставляя ничему места, и постепенно, как всякая не предполагающая продолжения мысль, утрачивая определенность очертаний. Набравшись духу, она отважно решилась продолжить путешествие мысли и подумала, о чем бы ей подумать, но не нашла и опечалилась. И, как всегда, когда она огорчалась, затмевая явь, всплыла картинка болота, отличающаяся, однако, на этот раз от привычной тем, что струящие тяжкие развратные фимиамы остролистые осоки, сабельники, шептухи и хвощи были такими злобно страстными, вода, из толщи которой на поверхность, звучно лопааясь, всплывал густой и тягучий крахмал вождедений, мельтешила пиявками и зырилась такой провальнoй чернотой, так удушал исходящий от нее истомный дух болиголова, что от сонной глубины и невнятного

страха в Марфуше сделалось головокруженье. Пошатываясь, она пошла к себе в кладовку на топчанчик.

Присланный для изъятия лишнего имущества у тех, кто им располагал, в окрестности неожиданно возник бывший муж, бросивший малярить, и превратившийся к этому времени в грузного человека, старше своего настоящего возраста. Наведавшись по должности к Марфуше, он растерялся, смотря и не понимая, кто перед ним. Увидав на ломберном столике цапки, он с неудовольствием произнес — «эх...» — и махнул рукой, не зная, как себя вести. И хотя из-за зависимой работы ему было привычно быстро смиряться с утратой предыдущих состояний, встретив Марфушу, бывший муж долго удивлялся несоответствию тогда и теперь, а, если точнее, непонятным событиям тогда из такого очевидного теперь.

Меж тем Марфуша, чьи чувства после того, что с ней случилось, не запутались и усложнились, — и это было бы вполне естественно — а неожиданно упростились, бродила на закате по саду, укутанная от комаров, как во времена татаро-монгольского ига, в трех кофтах и двух юбках, а ее замечавший отдельные вещи и действия и отказавшийся от выведения итогов ум никому в пустом доме и саду не мешал. Переселившись, кстати,

даже не столько в кладовку при кухне, сколько в хозяйский сад, она страстно и беспросветно огорошивала землю семенами цветов. С одним отличием: если некогда в доме деда Марфуша культурно возвращивала ботанические раритеты, ныне она полоумно сеяла плевелы. А так как еда в одиночестве перестала быть для нее трапезой, превратившись в поспешное утоление неважной нужды, то и ела она в саду из пригоршни прихваченные в кухне отварные картошки. Иногда она жевала принесенный бывшим мужем высохший бутерброд из буфета учреждения, чье неземное название повергало Марфушу в особенно глубокую задумчивость.

Вечерами, прихлопывая на впалых скулах комаров, она размышляла о том, что цикламены летом любят прохладу, а гладиолусы имеют страсти к солнцу... из этого надо было сделать какой-то вывод, относящийся к хозяйскому саду, но она никак не могла догадаться какой, и потому покидала стезю умозаключений и, привлекая калашу, бездумно пересаживала цветы куда надо. При этом ее блеклый взгляд все чаще стремился к тому уголку сада, в котором под могильным камнем был похоронен хозяйский кот. Она думала, что там самое подходящее место.

Как-то вечером бывший маляр, сам не понимая, зачем он навещает Марфушу, заглянул к ней.

По дороге он предавался нелепым зрительным фантазиям, споспешествовавшим некогда выбору ремесла. Он умственно срывал крыши со встречных домов, продлевая вертикали, шире распластывая горизонталь строения, передвигая деревья и смещая сумрачные пятна в их тенистых кронах, впиваясь немигающим взглядом в гладкие, шероховатые и бархатистые поверхности тел и вещей. Он наслаждался, прослеживая пересечения плоскостей и граней, осязая умом и перекраивая во внутреннем видении случайные неверные формы. И только открыв массивную с чугунным кольцом калитку, он вдруг понял, что приходит для того, чтобы, основательно усевшись в хозяйском кабинете в кресле пред высоким и просторным письменным столом, положить руки на подлокотники с гривастыми львами, откинуться на высокую резную спинку, закрыть глаза и захлебнуться блаженством, вообразив другую, совсем другую жизнь, — ту, какой ему теперь предстоит жить.

Несмотря на сумерки и тучи комаров, Марфуша все еще возилась в саду, зачем-то прорежая тот самый куст теперь уже окончательно отцветающего шиповника с измятыми белыми лепестками и развалившейся махрящейся сердцевинкой. Увидав посетителя, она исполнила некогда вытверженный ритуал гостеприимства, и, как положено, приветствовала гостя, проводила его в дом,

но самовара не поставила, а села в столовой напротив визитера и начала, бледнея, на него смотреть. Чем пристальнее она на него смотрела, тем больше уходил от Марфуши, расплываясь концентрическими кругами и формируя вокруг беззвучный безвоздушный котлован, окружающий мир. Она вдруг почувствовала, что становится сама себе чужой, что в ней сякнет жизнь, и принялась всхлипывать, горестно приговаривая, что она — плохая, очень плохая. (Такое уже случилось — о собственных никчемности и порочности после ухода недолгого супруга Марфуша незамедлительно забывала). Вот и сейчас, глядя на него, она, сбившись, сказала, не то, что хотела: «Это ничего, что комаров много, даже, говорят, полезно... — и добавила — чего там, это что, и не такое бывает... — а потом удрученно дополнила — можно и потерпеть...» — и лицо у нее приняло отчаянное выражение.

«Ну...» — неопределенно вздохнул посетитель, подумав о том, что зря не пошел к мякотелой поварихе из бывшей земской больнички, которая ему смутно кого-то напоминала, и стал ждать, что будет дальше. Но больше Марфуша ничего не сказала, чаю согреть не надумала, а с дрожащими губами пошла в кладовку на топчанчик.

Еще раз вздохнув, бывший муж отправился в кабинет хозяина. Отдернув от стола кресло

с подлокотниками, завершавшимися вздернутыми львиными головами с остервенело разинутой пастью, уселся, прочитал в раскрытой книге темную фразу: «Укоренены в бытии только превзошедшие его...» Удивленно поднял брови, а потом, хмыкнув, смежил веки и несколько минут посапывал. Ему по какой-то умственной прихоти припомнилось, как в детстве в сомнамбулическом состоянии он хотел помочиться в бельевую кладку комода. Потом была темная суতোлка и расползавшаяся по телу боль. Он тогда спрятался в хлеве, из которого мать его частенько выпроваживала, если он засиживался на ведре, а ему не хотелось выпрастываться из влажного тепла, и он неотрывно смотрел на бесшумно шуршащие в корыте мягкие коровьи губы и выпуклое блестящее око, прикрытое коротеньким веком с редкими ресницами. Его восхищало, какая корова большая и какая она добрая. Из слухового окошка сеялась слабая луна, глаз кротко сверкал с подстилки, он прижался к мерно и глубоко дышащей коровьей плоти саднящей спиной... и ощутил спинку твердого резного кресла.

Открыв глаза, он отложил книгу с непонятной фразой и потащил к себе толстый художественный альбом. В течение часа он негнушимися пальцами задира л папиросную бумагу, всматриваясь в картинки, вздергивая то одно, то другое

плечо и отирая затекшие лопатки о высокую резную спинку кресла, а когда на столе иллюстрированным изданиям не достало места, раздвинул вширь локти и с ухмылкой прислушался к шумному обрушению томов на пол.

Наконец, он оторвался от беспорядочно валявшихся на столе альбомов, которые устал разглядывать, несколько минут сидел, угрюмо набухая и прислушиваясь к струению разогревающей тело крови, отдающемуся в ушах биению сердца. Потом раздраженно завозился локтями в жестком резном кресле, встал, и, не потушив лампы на стройной малахитовой ножке под зеленым, обшитым стеклярусом, абажуром, вдвинулся в створки двери, ведущей в Марфушину кладовку, притворив их с такой силой, что дерево закрипело.

Вечером другого дня Марфуша раскопала в уголке сада возле могильного камня над хозяйским котом глубокую ямку и, предварительно обильно полив землю, опустила туда корень, вероятно, из семейства пасленовых, как-то чудно в сумерках сверкавший и напоминавший очертаниями растопыренные морковки георгина, а затем присыпала его песком. Разогнувшись, она неожиданно сказала самой себе вслух: «К дому прекраснокудрявой богини Цирцеи все устремились» и озарилась насмешливой улыбкой, какой никто

никогда на ее лице не видел. В сумерках она еще долго сидела на скамеечке возле камня, переживая необыкновенное ощущение душевного и физического равновесия.

К концу августа возле камня вырос изумительный цветок, колдовским и устрашающим обликом сходный с чертополохом. 31-го августа Марфуша аккуратно окопала совочком, выбрала корень, обмыла, очистила его наподобие сельдерея, изрезала, измельчила, истолкла грубое туловище, и залила кипятком, чтобы отвар настоялся. Спустя несколько дней когда маляр навестил ее снова, она, наконец, согрела для пришедшего самовар и украдкой подлила настоя в кружку, из которой бывший муж собирался пить чай. Однако, когда гость, взявшись за кружку, из нее прихлебнул, Марфуша страшно перепугалась и, рыдая, призналась ему в своем злобном бессмысленном действии. Как со всеми предками по мужской линии, страдавшими избыточным полнокровием, с недолгим супругом случился припадок. Бывший муж кричал и кричал на охватившую голову руками Марфушу. Крики становились отчего-то все протяжнее и протяжнее, и, наконец, ослабев, он проговорил неверными губами: «мама», и начал как призрак растворяться в воздухе и испаряться в облачко на горизонте. Марфуша навсегда возвратилась в лечебницу.

2. Захватывающая радость

Если обратиться к дороге, по левую сторону деревня смыкается с кладбищем, летом из-за украшающих могилы розово-желтых бумажных цветочков по-францискански формально веселым и приветливым: мол, приходите, пожалуйста, — а не безалаберно русским — да ну, все там будем! Дом Марьи Гавриловны как раз на левом краю стоит. Той ночью во сне Марья Гавриловна долго пусто и бездыханно падала в пропасть, падала — знала, не долетит. А когда вернулась в себя на колючие остья тюфячка, ошеломило благоухание разбухших от дождя и грузно поникших соцветий сирени, плывшее от разросшихся кустов, которые навалились, сломав дальний штaketник у них на даче, и она, не размыкая век, увидела неровно растушеванные объемы: темные сгущения возле стержневых побегов и лучезарное кружево, обрамляющее сирени по краям.. Мысль: жизнь большая была — подумалась не словами, а каким-то удивленным чувством, и только потом — как это в августе сирень? Ослабевшая Марья Гавриловна пошевелила губами испить нахлынувшего сырого воздуха, ей стало просторнее в груди, а потом сиреневый запах растаял. И снова была неопределенность.

Но днем у Марьи Гавриловны случилось еще одно неожиданное впечатление, на этот раз от фаянсовой с красной каемочкой дощечки для сыра, которую Груша для чего-то положила в баул, когда несколько лет назад укладывали для переселения в деревню самую нужную утварь, и до нынешнего дня Марья Гавриловна ее из баула не вынимала. Но нынче, когда все решилось и предстояло снова собирать вещи, она увидела дощечку и была не в силах отвести взгляда от желтых пухлячато-маслянистых ломтиков на белоснежном фаянсе, их тусклых бескрайних отражений в бочковатой стенке самовара, убегающего в зеркальную глубину призрака стоящей рядом чашки...

Три дня Марья Гавриловна не умывалась. Она перестала думать впрок, пила чай, не поев, и доила в хлеву Фрину, не сменяя платья. В Марье Гавриловне происходила сильная перемена. Что-то исподволь и постепенно завладевало Марьей Гавриловной, но когда она на это обратила внимание, оно уже было: очертания предметов обыденной жизни, вроде стола, табуретки и сложенной во дворе поленницы, отчего-то бледнели и расплывались, более того, домашнее имущество начало как-то подозрительно колыхаться и подрагивать, как колеблется растворяющийся в воздухе дым, так что впору было думать о небольшом земле-

трясении, но в то же самое время вещи, проживающие у Марьи Гавриловны в уме, сделались отчетливыми и тяжеловесными — из-за этого пришлось уделять им больше внимания. От неожиданности несколько надломившись, брови у Марьи Гавриловны приподнялись, а глаза закрылись веками, но от того, что расширившиеся зрачки, отказывались целенаправленно взирать на что-либо определенное, вбирая все, видела она только лучше. И главное, наконец, только то, что ей было нужно, хотя из-за взметнувшихся бровей выражение лица у Марьи Гавриловны сделалось несколько высокомерным. У соседней хватало своих забот. Да и кто бы мог случившееся в душевных глубинах Марьи Гавриловны угледеть: акушерке, которой больше по вкусу было медицинские советы рассылать из дому заглазно, все равно пришлось хлопотать с бабами, кому пришло рожать, а Фрина была поглощена собой, потому что дышала, жевала и переваривала.

Навыков последовательно сообразных движений Марья Гавриловна в связи с явленным ей поутру откровением, в котором все же кое-что оставалось не проясненным, не утратила, однако безотчетно подчиняясь хозяйственным нуждам, она то и дело прерывала исполнение привычных обязанностей и присаживалась, склоняя голову и складывая руки на коленях: не думая ни о ком

отдельно, она думала о всех разом одну странную всеобъемлющую мысль, которую несомненно затруднилась бы пересказать, если бы кому-нибудь пришло в голову спросить ее, про что эта мысль. Застигая Марью Гавриловну на ниве будничных трудов, раздумье вдруг понуждало ее замереть с невычищенной морковью, а спустя неопределенное, никем не посчитанное время, с недоверчивой улыбкой покачать головой и опустить преданную забвению морковь в позабытый чугунок, чтобы теперь уже навек вычеркнуть их обоих из памяти.

Порой большая и невыразимая из-за своей значительности мысль Марьи Гавриловны дробилась и тогда отдельные ее части становились внятными: «С виду люди всего нескольких типов, а к душе приглядишься, двух похожих нет, — размышляла Марья Гавриловна — иногда такое в ком-нибудь заметишь, что поневоле призадуматься».

Озадаченная собственным неожиданным рассуждением, обнаруживающим сложную картину жизни, Марья Гавриловна все больше уверялась в том, что истинные причины поступков открываются разуму, только если их, так сказать, ненароком подсмотреть. Как ни странно, углубившись в посторонние раздумья, меньше всего она размышляла о том, насколько другой жизнью ей теперь живется. Вступив на дорогу символических

прозрений, Марья Гавриловна пошла по ней безоглядно, отныне факты жизни что-то значили для нее, только если за ними можно было усмотреть второй смысл, и этот второй смысл оказывался капитальнее обыкновенного первого. Кроме того, надо же кому-то доить Фрину, и вот когда в универсуме место рядом с Фриной оказалось вакантным, его заняла она, Марья Гавриловна, и теперь это ее вечное место возле вечной Фрины. С женственностью Марья Гавриловна тоже в одночасье попрощалась и укладывалась спать в шерстяных носках; да и вообще жизнь, которой она жила прежде с ее вздорной категоричностью невесомых суждений, как-то отслоилась, и в Марье Гавриловне осталось только то, что ее составляло, — неосязаемая энергия, — и она сделалась среди людей собственной тенью, открыв для себя бесконечное количество чудесных возможностей и переживая наедине с Фриной наибольшее чувство полноты существования. Впервые тягу к простоте она почувствовала, когда незаметный прозрачный полог, именуемый временем, начал тихо испаряться и с ним исчез Петр Петрович. Тогда Марье Гавриловне непередаваемо явилось, что никаких действий в связи с этим исчезновением предпринимать не надо, потому что Петр Петрович просто не мог поступить иначе. Причины его ухода не имели ничего общего с теми глупыми

причинами, по которым отцы семейств оставляют свои дома. Разумеется, он раньше, чем она, Марья Гавриловна, понял: то время, в котором они так хорошо пили чай и принимали гостей, кончилось, и ни о каком сопротивлении космическим стихиям речи идти не может. Но именно поэтому своей нынешней задачей Марья Гавриловна полагала посильную расшифровку неуловимых эпистол, доносящихся к ней от Петра Петровича из темных атмосферных сгущений. Она понимала, что никому ничего объяснить нельзя, потому что случаемое с нами неисчерпаемо, оно искажается, утрачивая равновесную целостность при любой попытке себя пересказать. Она знала подспудно и безотчетно: слова которыми ей доведется воспользоваться для того, чтобы назвать то, что с ней произошло и происходило, начиная с исчезновения Петра Петровича, окажутся нелепо и не на место посаженными, упускающими главное и настаивающими на какой-нибудь второстепенной детали, неправомерно утяжеляя ее, придавая ей несоразмерное значение и от того нарушая всю гармоническую композицию явления, стало быть, в итоге, извращая истину. К тому же, Марья Гавриловна просто старалась последовательно и отчетливо производить сухие рядоположенные физические действия для обеспечения простой телесной жизни: важно было перетер-

петь до того времени, когда Петр Петрович даст о себе знать. И хотя прежде для нее много значило отдавать себе отчет в правильности или ошибочности собственных мыслей и поступков, с некоторых пор она перестала оценивать свои действия с точки зрения морали. У нее теперь не бывало размышлений о том, плохо или хорошо то, что она делает. Замкнувшись в круге однообразных трудовых жестов, Марья Гавриловна больше не интересовалась ничьими мнениями, а оброненные ею скучные слова, вполне ей самой безразличные, стали почти целиком зависеть от минутных, физически объяснимых состояний... и жизнь упростилась. Но важнее всего было то, что в ней открылся неистощимый кладезь покорности, неисчерпаемые запасы согласия и смирения по отношению ко всему тому, что случилось и может еще случиться.

Меж тем когда — не сразу — Марья Гавриловна, все так же приподняв брови и полуприкрыв глаза, бесстрастно разгадала, откуда дует ветер, и как то, чем она была в прошлом, сошлось с тем, чем ей предстояло стать, голова у нее склонилась еще ниже — пожалованный ей неожиданный ответ надо было скрыть от беспечных взоров.

Впрочем, если бы кому-нибудь из невнимательных соседей и вздумалось в тот миг взглянуть на Марию Гавриловну, едва ли бы он что-то

необыкновенное в ней различил, ну разве что заметил вдруг напрягшиеся и отвердевшие черты лица, начавшего именно тогда, когда до Марьи Гавриловны вместе с обморочным благоуханием сирени донеслось из ниоткуда, что от нее ждут решительного шага, обретать характерные особенности изваяния.

Предстояло все же разобраться с тем, какого именно шага от нее ожидают. Это было непросто. Когда Петр Петрович исчез во временном интервале, он прирос к Марье Гавриловне безотлучно, и она, Марья Гавриловна, тоже постепенно и у всех на глазах, в каком-то смысле начала убывать для мира. Таким было бесхитростное мнение окружающих, поговаривавших, что докторская жена де отправилась скитаться в пространства собственных эманаций, и между прочим, не сильно ее жалевших, потому что им всем вокруг тоже, ну просто черным по белому, было ясно, что если на кого-то обращено ожидание, плевать, оправданное или нет, стоит ли толковать об одиночестве. Как бы то ни было, отныне все, что ни приходило Марье Гавриловне на ее сосредоточенный ум, она сразу превращала в настойчивое безмолвное взывание к Петру Петровичу, словно нуждаясь в его санкции для того чтобы окончательно усвоить смыслы своей жизни в том виде, в каком она ему их преподнесла. На удивление всем воз-

вышенная самоуглубленность не умалила деловой трезвости и хватки Марьи Гавриловны: в тех случаях, когда она задумчиво снисходила до каких-то решений по хозяйству, она принимала самые удачные и благоразумные меры, пренебрегая мелочами, и они чудесно налаживались сами собой или самоуничтожались, исчезая за горизонтом ее взгляда — неподвластность тленному миру безупречно отточила ее редкие действия. Не домогаясь ничьих дружб, она не искала нужного тона с деревенскими, отчего он сразу нашелся, тот самый, каким она говорила в городе, и необыкновенно вписавшись в общий колорит крестьянской жизни с ее бесполезно трудовыми днями, которые сливались воедино, перешагивая через пустые окна ночей, Марья Гавриловна словно только пребывала в деревне, покачиваясь на самом деле в люльке мирового пространства.

Странность положения заключалась в том, что рассудительная хозяйка, чьим не-усыпным попечением держался дом распустехи и мечтателя Петра Петровича, особа, чьи мнения были так тверды и неукоснительны, что временами ей самой было трудно с ними сосуществовать, женщина, стоявшая на твердой почве доказательной жизни, внезапно перестала нуждаться в достоверных свидетельствах этой жизни, в твердой почве и в почве вообще.

В деревне Марья Гавриловна, про которую говорили, что она профессорская вдова, хотя Петр Петрович не был профессором, а Марья Гавриловна не доподлинно знала, вдова ли она, обзавелась приятельством с проживавшей по соседству акушеркой. Летом в хорошую погоду акушерка курила на крыльце трубку и певала басом: «корабль одинокий несется...» А с левого запястья у нее свисал, навечно привязанный аварийный кисет на случай войны, грозы, пожара или какой-нибудь другой катастрофической ситуации. Говоривали, что в кисете лежат трубка, табак, да игральные карты.

Прослышав, что муж Марьи Гавриловны был врачом и, вероятно, полагая, что в брачном содружестве профессиональные знания никак не могут быть привилегией одного из партнеров, лечившая всех деревенских акушерка, зашла вскоре после вселения Марьи Гавриловны в пустовавший соседний дом, просить совета, что делать с больным докучливым стариком. Выслушав акушерку, Марья Гавриловна подумала и сказала: «Вы оставьте его в покое — а потом подумала и добавила — и меня тоже». С того они и подружились. Взаимоуважительная дружба осуществлялась через изгородь, так что и чай каждая со своей стороны пила. Столик выставляла акушерка, Марья Гавриловна только плетеное кресло вплотную к из-

города придвигала. Необъяснимое взаимопонимание простиралось куда далее predeterminedных раз и навсегда тем, исчерпывавшихся погодой, наличием в лесу ягод и нахальным поведением Фрины. Иногда Марья Гавриловна вдруг забывалась и подставляла розеточку кому-то третьему на пустовавший край столика или обращала к собеседнице, отбирая у нее чашку, странную реплику: «Ну, я полагаю, с вас на сегодня довольно, вспомните о том, что вам говорил Шварц.» И тогда чаепитие начинало походить на спиритический сеанс. Прежде в таких случаях Марье Гавриловне изредка случалось подмечать странное выражение на лице приятельницы и по прошествии каких-то недолгих минут она, сжалившись, покладисто добавляла, что просто чай в этот раз вовсе не так хорош, как бывало. Но иногда Марья Гавриловна духовно отлучалась на более длительный срок, потому что склоняя голову, чувствовала на щеке жар, струящийся от внесенного Грушей самовара, и как ей горячо припекло мочку уха, когда она приставила к самоварному носику чашку Петра Петровича, который, не отрывая от Марьи Гавриловны безмятежного взора и стараясь не шевелить опущенными под стол руками, скармливал в эту минуту под скатертью, отламывая по кусочкам, теплую промасленную баранку Молли. И был в этот миг Петр Петрович

счастлив. Молли не любила баранок, но, не желая огорчать хозяина, она скучно под скатертью му-солила и крошила хозяйский дар, а вода продолжала из носика литься в чашку и чашка все никак не наполнялась и не наполнялась, и самовар, уже безмолвно, источал равномерное матовое тепло, мягкое и очень сильное, слишком ровное и непрерывное, намного превосходившее физические возможности всех самоваров, и это яркое тепло, проникнув в Марью Гавриловну, расцветало в ней розой небесного покоя, как тогда, когда один раз ей дали морфия от боли, и это было тоже как земля и небо, но трудно сказать, как именно...

Впрочем, со временем акушерка привыкла не обращать внимания на духовные отлучки не потому, что не слышала и не видела, а потому что была занята тем, как получше умять табак в трубке, а умяв его, наконец, и раскурив трубку, сосредотачивалась мечтательным взглядом на облаках, пока не задремывала.

Но и то сказать, объяснением отчего она так говорит и поступает, Марья Гавриловна не очень затруднялась, к чему ей было заниматься праздными пустяками, когда, конечно, Петр Петрович прекрасно все понимает с полуслова. А то и вообще без слов, ведь как есть люди в любой миг имеющие точное представление о времени без

всяких часов, так она, Марья Гавриловна, всякую минуту, на удаленном расстоянии или рядом, ничего не зная про обстоятельства этого мгновения — ей не было ведомо, бранит ли Петр Петрович сейчас фельдшера, внемлет ли счастливому безумцу или в задумчивости глядит в приемной на рододендрон слышала состояние его души, над которой, не имея никакой власти, никакой власти не желала. И все же погруженная во тьму дорожка ясновидения Марье Гавриловне была не внове потому, что в ту сорокалетней давности минуту январского дня, когда розовощекого с мороза Петра Петровича неожиданно представили молодой дальней родственнице, и сам доктор и протянувшая ему руку безучастная девица согласованно стеклянно улыбнулись, не успев рассмотреть друг друга, а столкнувшись взглядами, растерялись и обморочно побледнели, забыв о рукопожатье и прилагая все силы к тому, чтобы, как того требовал общий знаменатель приличий, стереть с лица потрясенное выражение и восстановить себя в предшествующем виде.

Только что все было тусклым и незначительным и вдруг осветилось и обрело смысл — так Петру Петровичу и Марье Гавриловне впервые неумолимо и пугающе предъявило себя сокровище. При этом не подлежало никакому сомнению, что утреннее сиреневое прозрение было тысячью

крепчайших нитей, ну просто — шпагатами, веревками и канатами, связано с тем, давешним. Из того взгляда и последующего усилия восстать из пепла вышло вневременное мгновение такой глубочайшей интимности, какую Петру Петровичу и Марье Гавриловне никогда больше не выпало переживать. Хотя, спрашивается, что такое из ряда вон можно взять да и увидеть в глазах?

А потом жизнь стала состоять из разных чудесных и исключительных случаев и эпизодов, складывавшихся в особенность именно этой совместной жизни, и совершенное ее несходство с жизнью всех остальных людей было Марье Гавриловне и Петру Петровичу так до смешного очевидно, что и говорить об этом не стоило. И они ничего не говорили.

Не то что бы Марья Гавриловна складом натуры была отзывчива только на внутреннее в человеке, а к природным гармониям нечувствительна, но с годами предметы окружающей действительности в ее глазах, еще до того, как она вообще начала ими пренебрегать, стали отчего-то утрачивать твердые очертания, неверные контуры вещей по пути к самим себе размыкались и концов было не сыскать. В прежней жизни, которую сама она не отделяла от нынешней, Марья Гавриловна могла задержаться у косяка ведущей в кабинет Петра Петровича двери, чтобы, склонив

голову, взглядеться и оценить ненарочитость сочетания на письменном столе выхваченных добравшимся под вечер до окна июньским пронзительным солнцем стопки чистой бумаги, белой привычной фигурки фарфорового Наполеона и тусклого неубранного поутру Степаном подстаканника: мельтешащее световыми пылинками ажурное пиршество сизых, серых и жемчужных тонов. Позже, однако, сиюминутное мерцанье непрестанно преображающихся вещей Марью Гавриловну интересовать перестало и, хотя видела она лучше прежнего, ее ум сделался от них свободен. Спокойный взгляд Марьи Гавриловны, мгновенно равнодушно различая и ничем не любопытствуя, падал на внешние предметы и, словно осекшись, забывался на них своим собственным видением, сейчас же эти пленительные и разочаровывающие, и все же, по ее мнению, слишком призрачные, объекты покидая и возвращаясь к оставшемуся без присмотра Петру Петровичу. Она не сомневалась в том, что так ей удастся уберечь его в той, ей неведомой, жизни от больших опасностей.

А тогда к осени в городе вышли недостатки во всем, недовольства и большие людские передвижения, вынудившие Марью Гавриловну без возражений последовать уговорам горничной сохранить себя, переселившись в места, которые по описаниям покинувшей их в пятилетнем возрасте Груши,

соединяли в себе достоинства Земли Аввалон и Садов Гесперид. Именно тогда приютила Марью Гавриловну понурая и лысая деревня, в которой из-за неминуемых картофельных огородов было видно во все унылые концы света. Вполне подаваясь исчерпывающему изображению при помощи всего трех карандашных линий и двух цветowych пятен, видом своим деревушка предрасполагала к визуальному воздержанию; население, тоже впрочем, было ко всему внешнему глубоко безразлично, потому что в мыслях много о себе воображая, с истязательным смирением трепетало над собственной худобой.. Три или четыре, накрепко усвоенные привычки легли в основу равнодушного поведения жителей деревни, поставивших перед собой темную цель длить жизнь. Но по этим самым причинам посвятившая себя ожиданию задумчивая докторская жена удачно вписалась в картину

Когда мужик выгрузил возле крыльца баул и Марья Гавриловна вошла в дом, она присела на лавку и начала, припоминая мелкие подробности и дорисовывая неоконченные положения, думать о Петре Петровиче, который, несмотря на отчаянное сопротивление Марьи Гавриловны, все больше становился фигурой воображения и уже иссякали силы его удерживать. Спустя некоторое время, она пошевелилась, достала из ридикюля

лорнет и начала присматриваться к устройству жилища, чтобы составить о нем представление, сразу отодвинуть в дальний уголок памяти и не загромождать пространства, нужного для серьезных мыслей. Ни тогда, ни потом Марье Гавриловне так и не пришло в голову в доме что-либо переделывать или передвигать и атрибуты предшествующей жизни остались на своих местах. В баул Груша положила только самые, по ее мнению, нужные вещи и среди них ненароком попавшую под божницу стопку визитных карточек. Иногда Марья Гавриловна не без недоумения смотрела на карточки, но, похоже, глубоких умственных движений они в ней не пробуждали. Выстроив в уме порядок физических действий, Марья Гавриловна стала жить в избе так, словно век в ней вековала, невозмутимо управляясь с хозяйством и следуя при этом своими, неявными для соседей, более короткими и результативными путями, и как-то раз даже починила настенные ходики только тем, что поглядела на них долгим ровным взглядом. Попенявшая поначалу на хлопотную деревенскую жизнь акушерка впоследствии ни о каких хлопотах в присутствии Марьи Гавриловны не говорила, это слово не могло иметь отношения к ограниченному репертуару отстраненных, неспешных, холодновато взвешенных движений Марьи Гавриловны, свершавшихся, как у всех в деревне, с утренней зари и до зари

вечерней, когда Марья Гавриловна, приспустив на глаза, чтобы их не ослепляло вечернее солнце, панаму с одной оборванной тесемкой и шатко ступая в большеватых калошах, вынуждавших ее высоко поднимать и напрягать ступни, водворяла во влажный полумрак хлева несговорчивую Фрину и задавала ей сена, естественных и незаметных, до которых ей самой, судя по всему, не было никакого дела, тем более что в конце концов каша получалась вкусной, а варенье в меру загустевшим, и внешние дни, солнечные и ненастные, теплые и холодные, тихие и ветреные, неотличимые один от другого, расплывались неверными окружностями, растворяясь в зыбких горизонтах, зато события душевной жизни выстраивались в неумолимой и строгой посясторонней последовательности.

К тому времени, когда Марья Гавриловна обратила пристальный взгляд на фаянсовую с красной каемочкой дощечку, ее городской облик претерпел изменения: одежда, преобразившись в простую преграду холоду и жаре, перестала указывать на что-либо кроме физического состояния окружающей среды, благородные седины побурели — теперь она неаккуратно повязывала голову косынкой, не умея сноровисто, как это делают крестьянки, подоткнуть уголков внутрь. К тому же, оставаться в крепко сколоченных стенах на-

лаженного для жизни дома у Марьи Гавриловны охоты не было, ее непрестанно влекло на воздух и она все распахивала окошко, едва не сталкивая на пол подаренный акушеркой горшок с розовой геранью, уже не думая о том, что красивые вещи способствуют облагораживанию души. При этом забредавшие ненароком ей в голову мысли были такими отрывочными, что их серьезно и мыслями-то назвать было нельзя. «Что за дело — думала, Марья Гавриловна, — дом, например, ну, построили-расстроили, разлюбили, бросили... имущество... барахло...»

И в поддержку этого анархического умонастроения, свидетельствующего безразличие к земным делам, ее внутреннему взору являлись не хлипкие сооружения слабых человеческих рук, а картины бесконечно распахивающихся горизонтов и маячила такая упоительная возможность в них затеряться. Время начало свертываться и заматываться, как тросик воздушного змея, который наматывают на катушку мальчишки. И с памятью, этим прошлым — сейчас, что-то дело принялось обстоять уж слишком буквально. Именно тогда в доме у Марьи Гавриловны состоялся такой диалог:

«Приходила Нюша, поздравляла меня» — сказала Марья Гавриловна акушерке за чаепитием у изгороди.

«С чем, Марья Гавриловна?» — испуганно сказала акушерка.

«Ну с этим вот всем...» — Марья Гавриловна повела рукой вокруг себя и затруднилась в словах.

«Вы хотите сказать, выражала сочувствие» — ворчливо сказала акушерка.

«Ну да, сочувствие». — равнодушно согласилась Марья Гавриловна и снова задумалась.

А вскоре и вовсе стало не до чаев с вареньем: Марье Гавриловне сделалось совсем все равно на что глядеть и что куда класть. И в один прекрасный день, когда август склонялся к сентябрю и по осени потянуло сыростью и безнадежностью, когда из будущего, захватывая пространство, заступая со всех сторон, надвинулась былая жизнь, на другой день после неурочного августовского благоухания сиреней и видения сырных на фаянсовой дощечке ломтиков Марья Гавриловна окончательно и бесповоротно поняла, какого шага от нее там ожидают, а, разобравшись, предстала перед акушеркой в виде необыкновенном: в некогда кокетливой панаме с одной оборванной тесемкой — потом ее сорвал и унес ветер странствий — в пыльнике с суковатой, не по руке тяжелой палкой и худым мешком за плечами. Много было не снести и не нужно, и ложечки тоже, только вчера их битый час начищала и при этом в голове такая пустота, пустее не бывает, но в душе все поет и не-

бывалый восторг, а потом вдруг стало неумолимо ясно, все, пора и скорее, потому что, конечно же он сюда не может... Ну, а ложечки, что ж, разумеется, она помнит: из числа движимого имущества ящик со столовым серебром... ящик с кофейным серебряным прибором завещаю старшей... остальное серебро, столовые и чайные ложки... но, право, до того ли сейчас, когда вот-вот на месте последнего проема вырастет крепостная стена, которой, как ни воздевай рук, ей не одолеть, и она их, сияющих вензелями, маленькими условными значками воплотившейся жизни, великодушно протянула через изгородь насмерть перепуганной акушерке.

Протягивая серебряные ложечки, в которых, окончательно убывая в пространство любви и чистых сущностей, Марья Гавриловна конечно уже не нуждалась, она обронила что-то вроде того, что нет в мире ничего естественного и завершенного, но каждый миг — предвосхищение чудесного, и еще прибавила нечто столь же мало разумительное, сказав, что в сорокалетней давности январский день она увидела в глазах Петра Петровича ...окончания фразы акушерка не расслышала, потому что стоя рядом с воодушевленной Марьей Гавриловной, вдруг оглохла от свергшегося на нее одиночества, да и договаривала Марья Гавриловна фразу, уже отвернувшись от стоявшей

за изгородью приятельницы, делая первые решительные шаги по неведомой дорожке другого, совсем другого пространства. Ну а в земной жизни, ясное дело, какое-то время на серых дорогах среди простоволосых и неприбранных деревень терзалась и маялась невзрачная телесная оболочка.

Так описывали уход Марьи Гавриловны деревенские старухи, потому что вскоре сама акушерка стала безразлична к предметам памяти и оставшиеся немногие дни, посиживая у входа на приветливое по — францискански кладбище, молчала как воды в рот набрав. Но всякий раз, когда она встряхивала левой рукой или, приятно усаживаясь на скамью, доставала из аварийного кисета табак, раздавалось звонкое металлическое бряцанье, которое не могло иметь отношения ни к игральным картам, ни к трубочке из пенки.

ДОБРОДУШНАЯ ГЛАША

**(для детей
и некоторых взрослых)**

На помойке

Когда Глашина мама как в воду канула, жизнь стала хлопотной. Ничего не поделаешь — так это у собак и бывает, если судьба им подгадала бродячую жизнь. Но Глаша на судьбу не сердилась. Во-первых, никакой другой жизни она не знала, а главное, — была добродушной и не любила сердиться. Иногда Глаше приходило на ум рассердиться, но в следующий миг она сразу о своем намерении забывала. Потому что оно было несерьезным. При этом догадаться, что большая черная Глаша — а такой она со временем стала — собака несерьезная, можно было, только внимательно посмотрев ей в глаза. А кому охота смотреть в глаза большой черной и, к тому же, совершенно незнакомой собаке, хотя бы и для того, чтобы распознать качества ее характера. Никто их и не знал. Как бы то ни было, несмотря на исчезновение мамы, Глаша не была удручена, а это очень важно для общего жизненного тона. Поутру, чтобы не упустить возможность разжиться хотя бы шкуркой от сардельки и больше о скучном не думать, а думать про интересное, — ну конечно, если какой-нибудь хрящик сам подвер-

нется, другое дело, — Глаша отправлялась туда, где возможности сыскать шкурку были очевидны, — на помойку. Если кто-нибудь вам скажет, что на помойке все просто, — не верьте, это неправда. Нынешняя помойка — это совсем другая помойка. Точно так же нынешние дворники — совсем не прежние. Видала Глаша недавно одного, на корточках возле бачка книжку читал. Пойди — разбери, что у него на уме, а метлу, кстати, можно было за тридевять земель унести. Конечно, сейчас на помойке иногда случается найти лакомства, каких не видывали самые тертые и выдавшие виды дворняжки, да только оказываются лакомства эти недосыгаемы. Как достать куриное крылышко, если оно упрятано в пакете, а пакет покоится в глубине бачка, а это то же самое, как на Северном полюсе? Но правда и то, что народ меньше жадничает и, нет, нет, да и положит сердобольная бабуля рядом с бачком сахарную косточку, которую ей самой уже нипочем не обглодать... Возле магазинов щедрая душа тоже, глядишь, да и сыщется. Что ни говори, а если бы не мальчишки, выскакивающие из школы в час дня как оглашенные, и лучше им навстречу не попадаться, еще чего доброго — укусят, жизнь не так уж и плоха!

А вот и шкурка!

На троллейбусной остановке

Неподалеку от помойки, на другой стороне улицы, стояла стеклянная коробка. Это была остановка троллейбуса. «Туда стоит сходить по разным соображениям» — сказала себе Глаша и пошла на троллейбусную остановку. На дорожном переходе Глаша пристроилась к мальчишке, с нетерпением смотревшему на красный глаз светофора. Терпение у мальчишки быстро лопнуло, и Глаше пришлось придержать его за штанину: Глаша была благоразумной собакой и не хотела рисковать. А когда загорелся зеленый свет, они оба перешли через дорогу. «Мы могли бы поговорить с тобой — сказал задумчиво Глаше мальчишка, когда они оказались на другой стороне улицы, — но сегодня я тороплюсь» — и с этими словами он побежал куда-то по своим замысловатым делам. А Глаша отправилась на остановку, потому что на остановке никто никуда не бежит, все стоят, и можно по-человечески поговорить.

Под стеклянным навесом ждали троллейбуса подпивший рабочий человек и усталая тетка. Рабочему человеку собеседник был не нужен, потому что им был он сам: рабочий человек махал рукой и разговаривал сам с собой. А тетка была хмурой и ничего вокруг себя не видела. Но Глаша смотрела на мир сквозь розовые очки, а когда

сквозь них смотришь, все вокруг улыбаются и желают одной-единственной вещи — твоего личного счастья. Первым делом Глаша конечно подошла к рабочему человеку, она придерживалась традиционных взглядов и считала мужчин главнее. Рабочий человек посмотрел на Глашу, но не увидел ее и продолжил объясняться, по-видимому, с начальником цеха. Постояв некоторое время около него, Глаша сразу его простила — она была добродушной собакой, просто потому что такой родилась, а не по каким-то другим причинам. Немного поразмыслив, — размышляла Глаша всегда неспешно — она подошла к тетке. И вот тогда произошло решающее в Глашиной жизни событие — тетка вяло пробормотала: «Чего тебе? Нет у меня ничего...» — и посмотрела в карие Глашины глаза. А когда посмотрела, наконец-то разглядела Глашин характер. Разглядев характер, тетка разволновалась: «Ну и что? — закричала тетка — Ну да, ты такая хорошая, а я тут при чем? У меня и веревочки нет!»

Рабочий человек перестал беседовать с воображаемым начальником цеха и с удивлением посмотрел сначала на тетку, потом на Глашу. Глаша, размышлявшая неспешно, ничего из теткиной речи не поняла, но продолжала глядеть на нее с бескорыстной любовью, она была совершенно уверена в доброте всех прямоходящих существ с необыкновенно развитыми передними лапами.

Тетка оказалась из тех, кто долго раздумывать не любит. «Останови машину — закричала рабочему человеку тетка — Тебе куда? Я тебя доведу. А ну, полезайте!»

И они поехали. Так закончилась первая недолгая часть Глашиной жизни и началась другая — долгая.

Дом

Собаки терпеливы и могут выдержать многое, но только не душевные переживания. Поэтому, когда Глаша, пусть не сразу, поняла, что в жизни ее ждут важные перемены, она вдруг почувствовала себя так, словно целый день без отдыха пробегала по унылому району новостройки. Главное, она не знала, какими будут эти перемены, хорошими или дурными. Машина остановилась около обычного городского дома. Глаша выбралась из машины и поплелась за теткой, которой она по-прежнему желала добра, но уже не так пылко, как раньше. Через разные двери, большие и поменьше, тетка повела Глашу по ступенькам. Чтобы не так сильно переживать, Глаша решила собраться с мыслями, но мысли не собрались, и она шла вообще без мыслей, а только равнодушно отмечала темные и светлые проемы лестничных клеток и запахи. Возле одной двери страшно пахло железом, возле другой стоял запах сырой штука-

турки, возле третьей благоухало жареной печенкой. Глаша вздохнула. Давешняя шкурка от сардельки была такой маленькой! А все же спать хотелось больше, чем есть. Когда от душевного утомления Глаша споткнулась, тетка как раз переступала порог очередного помещения — оно было светлым, в середине на полу лежала большая тряпка, толстая и пушистая. Глаша не стала собирать мысли, чтобы подумать, а подошла, легла, не раздумывая на тряпку, свернулась на ней калачиком и заснула сладким сном.

Голос сказал кому-то: «Так ты теперь хозяйка этого тузика?». А другой голос, напоминавший теткин, ответил: «Ну, какой Тузик, она — черная Глафира, Глаша, одним словом». Так, еще не вполне проснувшись, Глаша узнала, что она — Глаша, а тетка — Хозяйка, и, не собирая мыслей, Глаша неожиданно поняла: все будет по-другому. Глаше припомнился летний вечер в институтском подвале: из рамы подвального окна, в которой испокон веков не водилось стекла, а только зимой в самые холодные дни слесарь вставлял для тепла фанерку, в сумрак подвала волнами ниспадал с перегретого асфальта пронизанный гарью жаркий сизый воздух, а за рамой, по тротуару, плыла в обе стороны обувь. Каких только там не было башмаков! И они, всем семейством, — о, тогда они еще были все вместе! — задрав носы, увлеченно разглядывали щегольские лодочки,

солдатские ботинки на толстой подошве с грубым рантом и разношенные кеды, вышагивавшие парно навстречу друг другу. Вот это были времена!

Глаша осторожно приоткрыла один сонный глаз и сначала увидела над собой расплывчатое темное облако. Облако на глазах стало сгущаться, обретая контуры, и превратилось в Хозяйку и какого-то человека, с виду похожего на дворника, читавшего возле бачка книжку. Они, молча, сверху смотрели на нее. «Мыться!» — сказала Хозяйка забытое мамино слово.

Глаша заболела

Все! Все! Все теперь было не так, как раньше! И откуда ей знать, как себя вести! Впервые в жизни веселая Глаша пришла в душевное смятение. Только сон, сон и еще раз сон мог успокоить это смятение. Поэтому, не разбирая дня и ночи, Глаша спала. Сонная, она, пошатываясь, выходила за Хозяйкой на улицу и сразу тянула поводок в обратном направлении, чего она там, на улице, не видела... Хозяйка, конечно, добрая, потому что все люди добрые, но она слишком быстро думает, лучше не рисковать,... и вообще трудно сказать, что из всего этого получится, хотя, конечно, жить по чужой воле, спору нет, гораздо легче, чем по

своей, а в доме, к тому же, так хорошо и безопасно спится, и не нужно одним уголком глаза все время быть настороже. И Глаша снова ложилась спать на пушистую тряпку.

Через неделю Глаша наконец выспалась, а выспавшись, стала привычно веселеть, и тут бы все наладилось, если бы не этот неприятный спор из-за дивана. Диван как диван, ничего особенного. Стоял у стены. Глаша давно на него смотрела с пушистой тряпки. Она понимала, за набег на чужие владения может не поздоровиться, ничьей земли не бывает. Но еще Глаша знала, что она большая собака, а у них больше прав, чем у маленьких. Поэтому Глаша пошла к дивану, положила на него большие передние лапы, приподнялась на задних, и на всякий случай свысока посмотрела на Хозяйку. — «Что? — закричала Хозяйка — И не думай!» — и для верности тоже подошла к дивану и села на него. Тогда Глаша подумала и села на пол у дивана. Так они посидели некоторое время, Хозяйка на диване, а Глаша около него. Когда обе заскучали, Глаша опять осторожно положила большие лапы на диван и хотела приподняться, но Хозяйка сказала: «Нельзя», и Глаша убрала лапы. А потом Глаша вздохнула и... все повторилось. Спустя час Глаша поняла, что Хозяйку ей не переубедить, побрела на пушистую тряпку, свернулась на ней и уснула.

На другой день, придя со службы, Хозяйка нашла Глашу на диване. Глаша тяжело дышала и вздрагивала. «Глаша, у тебя нос какой горячий!» — закричала Хозяйка и побежала согреть молока и отнести его Глаше на диван. Глаша проболела немного и выздоровела. Диван остался в ее власти.

Хозяйкино место

Обретенной властью Глаша не злоупотребляет. Ну, разве совсем чуть-чуть. По воскресеньям. Когда воскресным утром Хозяйка, наконец, просыпается и в халате и шлепанцах, не постлав постели, не опамятававшись от ошеломляющих снов, — сны отчего-то у нее всегда, как она говорит, чудовищные — идет в кухню заваривать кофе, дождавшаяся желанного мига Глаша для порядка сопровождает ее к порогу кухни. А у порога, зная, что, пока Хозяйка не выпьет свои обычные две чашки, умственное зрение к ней не воротится, и хозяйкино место в ее распоряжении, влезает в теплую вмятину, оставленную хозяйским телом, и шумно вздыхая, пробует подумать хозяйкины мысли или окунуться в клокастые туманы хозяйских сновидений. Глаше хочется побывать в человеческом мире, хотя бы это и значило спуститься немножко назад по ступенькам эволюции.

Гости

Гости — это когда на пороге квартиры, оповещающая о себе пронзительным дребезжаньем, — как это только они умудряются так резко голос подавать! — встает много громких людей, и приходится всем им заглядывать в глаза, чтобы разобраться в том, как они относятся к Хозяйке. Такова служба. Только глупый щенок способен подумать, что она здесь просто так живет. Вот и поднимаешься непрерывно на задние лапы! Боже, не упомнить, сколько раз она это проделала, прямо лапы заболели! И, между прочим, в итоге, несмотря на ее «тугодумие», на которое отчего-то так нравится намекать Хозяйке, когда у нее самой дела не ладятся, она пришла к неспешному, но важному выводу: человеческие чувства не так разнообразны, как собачьи. У собак в глазах можно увидеть недоверие, зависть, неприязнь, равнодушные, ожесточение, а у людей — только благожелательность. Это потому что люди невинны. Ну и прекрасно! Пусть они душевно проще собак, зато у них передние лапы необыкновенно сноровистые.

С другой стороны, хотя Хозяйкины гости выше всяких подозрений и вообще отличные существа, они все же чудаковаты: как им удается столько времени проводить за столом в такой

неудобной позе? Любое собачье семейство уже давно бы уснуло после еды крепким сном. Хозяйке тоже в голову приходят иногда престранные вещи, Глаша сама слышала, она гостям за столом, например, сказала: «Собаки уникальные существа, они безоглядно преданы хозяину, даже если тот полная свинья». Непонятно, что бы это значило? Она конечно собака городская, но один раз видела свинью, она действительно была очень полная. Ну и что? Не совсем понятно. Один из гостей сказал просто страшную вещь: « Вот, — говорит — где собака зарыта». Но она, Глаша, думает, что такие, как он, среди людей исключение. Или еще после ухода гостей — кстати, когда гости уходили, они говорили громче, чем когда пришли, — Хозяйка вдруг заявляет, что посуду можно вымыть завтра, потому что та в лес не убежит. Ну и предположение — кого хочешь, ошеломит!

«Сколько еще вкусных вещей на столе...»

От этой неожиданно пришедшей на ум неприличной мысли Глашу бросает в жар: черный кончик ее носа начинает блестеть, она отворачивается от стола и, ослабев от мыслей и переживаний, выпавших в этот день на ее долю, пошатываясь, идет к дивану и, взобравшись на него, сразу засыпает. Глаше снится накрытый стол и охраняющая его мама.

Невыносимость спора

Это ужасно и невыносимо! Невыносимо и ужасно! Они разговаривают обычными голосами, но какие у них враждебные интонации! Еще недавно поутру все было чудесно! Похожий на дворника, правда, что-то говорил о неприкосновенности хозяйского места, но она, Глаша, взглянула ему в глаза и поняла, что на самом деле он не думает, что оно так уж неприкосновенно. Поэтому она пропустила его речи мимо больших висячих ушей и провела добрую четверть часа, расширяя душевный опыт, на ложе повелительницы. Если бы мама видела, она бы ею гордилась! Сама Хозяйка, правда, своим местом не дорожит, и это странно! Люди отличают телесную близость от близости душевной, какие смешные! Абсурд! Когда Хозяйка гладит ее по голове, она, Глаша, это чувствует душой. Как, между прочим, приятно иметь имя: Глаша звучит мягко и весома. Это имя большой собаки. Утром пахло кофе и разогретыми с маслом баранками, она к баранкам равнодушна и ей дали кусочек колбасы. И вдруг! Как из одичавшей своры! Тем более странно, что она заметила, в холодильнике еды на всех хватит. И все из-за какой-то Политики, которая на Глашиной памяти в дом ничего вкусного не приносила. Пусть только придет, увидит,

что будет! Глаша — большая собака! Какое это бремя чувствовать чувства других! Что делать, если они, собаки, так созданы. Люди обычно еще только размышляют о тайных кознях, а собаке уже давно понятно, на кого лаять. Ну не может она больше их, таких сердитых, слуууууушать... И Хозяйки ей особенно жалко, потому что похожий на дворника — остаться ей бесхвостой! — найдет около бачка хрящик и утешится.

В одиночестве

Утром после недолгой совместной прогулки Хозяйка уходит на службу, поэтому Глаша утренних часов не любит. Она забирается под стол, покрытый узорчатой скатертью с кистями, и делает вид, что происходящее ее несколько не интересует. На самом деле бахрома ничуть не мешает Глаше подглядывать за Хозяйкой, высчитывая минуты до того неизбежного мига, когда сразу после щелчка дверного замка ее окутает облако безысходной грусти и глубокого равнодушия ко всему на свете. Иногда в последние минуты, когда Хозяйка, сидя на диване, обувает башмаки, Глаша подходит и кладет на хозяйское блестящее колено большую увесистую лапу с крупными когтями. «Глаша, колготки!» — вскрикивает Хозяйка. Иногда этот возглас запаздывает, и, вздыхая, Хо-

зьяка начинает торопливо искать запасную пару. А Глаша улучает еще несколько дополнительных минут счастья.

Неприятное переживание

Сегодня пришлось оскалить зубы и зарычать. Она до сих пор в себя придти не может из-за собственной несдержанности, давно пора взобраться на диван и забыться, а она все ходит и ходит по квартире. Хозяйка даже спросила, а не болит ли у нее живот? Возмутительно. Она всегда подозревала, что эта втируша с первого этажа, которую так неприлично купили за деньги, подстригают в парикмахерской и напяливают ей нелепый комбинезончик, очень о себе возомнила. Такая балаболка двух дней на улице бы не выжила, потому что на улице ценится умение себя вести. Неужели непонятно: аристократ — это не французский шампунь, которым тебя почем зря поливают, а тот, кто сам себя воспитал. И вот эта пигалица, от горшка два вершка, — бросается навстречу, ей, Глаше, большой собаке, когда они с Хозяйкой всходят на крыльцо у парадной двери, с очевидным намерением вцепиться в горло. Видит Бог, каких усилий ей стоило себя сдерживать и не задать дурехе трепку. Она, Глаша, прекрасно знает, воля состоит в том, чтобы воздерживаться

от волевых движений, и она всего лишь глухо заворчала и сморщила нос, но вы не поверите, даже и этой малости ей до сих пор до слез стыдно. А ту, конечно, как ветром сдуло в квартиру вместо того, чтобы прощения попросить и представиться, как положено. Между прочим, в одном доме живем, могли бы и подружиться. Боже, как собачья раса вырождается!

Манна небесная

Хозяйка ждет летнего переезда на дачу как манны небесной. Желание Хозяйки для собаки — закон, и Глаша тоже ждет манны небесной. К тому же, на даче у Хозяйки из-за притока кислорода необыкновенно обостряется интеллект, — она сама это говорила — и Хозяйка читает все Глашины мысли у нее по глазам. А Глаше интеллект не нужен, она и так читает хозяйские мысли везде и всегда, вылавливая их из воздуха, — в итоге в летний период они достигают необыкновенного взаимопонимания. На даче на Хозяйку снисходит умиротворение, и она кормит Глашу по десять раз на дню, потому что сама ест десять раз в день и все, что ей вздумается, не соблюдая норм человеческого поведения и жизненного распорядка. При этом она повторяет не очень понятную фразу: «Воля и есть свобода, умники нашлись!» Конечно,

иногда Хозяйке, несмотря на обострившийся интеллект, приходит в голову предложить Глаше со своего блюдечка клубники, но, посмотрев ей в глаза, спустя мгновение она понимает, что настаивать не стоит. Признаться когда они в первый раз вошли в лес, было темно и страшно, а из-за неопишуемого множества запахов, смешивавшихся в упоительный суп, у Глаши закружилась голова, ей захотелось куда-то, неведомо куда, бежать, чтобы кого-то за что-то обляять и вслед за этим сразу подружиться. Она, впрочем, быстро взяла себя в лапы. Тем более, хозяйские чувства для собаки — закон, а хозяйка была спокойна, как медведь. Она, Глаша, медведя не видела, но однажды видевшая его издали мама много про эту встречу рассказывала. Зато она видела змею. Змея произвела на нее неизгладимое впечатление. И если бы не Хозяйка, они конечно бы подружились. Но Хозяйка ни с кем дружить не захотела, она грубо схватила Глашу за ошейник и поволокла в противоположную сторону, приговаривая: «Вот сейчас меня Бог от тебя и избавит, дождалась!». Глаша сначала решила обидеться, но поскольку была от природы добродушной, через несколько минут эти слова забыла. Вообще на даче хозяйка позволяет ей то, о чем в городе и мечтать не приходится, потому что — это такое наслаждение поздним вечером сесть около клумбы с табаками и от полноты чувств взвыть на луну и звезды. Это и есть манна небесная.

Грязевые ванны

Какая прелесть лужа на лесной дороге, когда жарко! И больше тут ничего не скажешь.

Спустя много лет

Глаша лежит на полу, потому что на диван ей не взобраться. Поседевшая Хозяйка присаживается на корточки около Глаши, держа в руках мисочку с молоком, но Глаша не хочет ни есть, ни пить. Хозяйка тоже мало ест, потому что почти не выходит в магазин, а если выходит, то необыкновенно быстро возвращается, чтобы Глаше не было скучно. Похожий на дворника давно куда-то уехал, и они проводят много времени вдвоем с Хозяйкой. Днем приходил человек в белом халате — он, как все люди, очень добр и погладил Глашу, а потом, когда он вышел в прихожую, Глаша не смогла его проводить. В прихожей он что-то сказал Хозяйке, не зная, что Глаша все понимает из воздуха. Поэтому она сразу догадалась: Хозяйка больше не будет давать ей горьких лекарств. Иногда, правда, особенно во сне, Глаша путает маму и Хозяйку. Но сейчас это не имеет большого значения. Хозяйка закрыла дверь, возвратилась в комнату, еще раз погладила Глашу по голове, села у окна и стала смотреть на улицу. Однако, не исключено, что она, Глаша, ошибается, и в окно смотрит мама.

Содержание

Ария из 114-ой кантаты	3
Люди, собаки и внешняя природа	36

ИЗ ЖИЗНИ ПЕТРОВА

Pattern	56
Озерко	65
Анфилада	74

ДАГЕРРОТИПЫ

Марфуша	85
Захватывающая радость	103

ДОБРОДУШНАЯ ГЛАША.....	125
(для детей и некоторых взрослых)	

**Резник
Вера Григорьевна**

Малая проза



Редактор — ???

Корректор — ???

Верстка — А. Панкевич

Дизайн обложки — Т. Капустина

Отпечатано в типографии